

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

и. о. начальника отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

Корректурa: М. Н. Долгов

2/2017

Содержание

ПРОЗА

Андрей НЕКЛЮДОВ. Всесильные советы Карнеги. Рассказ.	3
Марина АРЖАНИКОВА. Солистка. Рассказ.	46
Петр НИКИФОРОВ. «Мы, бывалоча, лавливали...» Рассказы.	54
Андрей БРОННИКОВ. Голубок не улетит. Рассказ.	73
Татьяна ЧУРУС. Нездешний свет. Рассказы.	82

ПОЭЗИЯ

Владимир КРЮКОВ. Луговая страна. Стихи.	40
Олег ИГНАТЬЕВ. «Под ширью голубою...» Стихи.	50
Евгений ЕРХОВ. «Вдоль огневого рубежа». Стихи.	67
«В структуре нот». Молодые поэты Новосибирска. Стихи.	79

ДРАМАТУРГИЯ

Роман СЕНЧИН. Проект. Пьеса в шести картинах.	86
---	----

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Виталий НАУМЕНКО. Там, где я не был.	121
Сергей ЗАПЛАВНЫЙ. Город на реке чистоводной. Историческое повествование. Окончание.	130

Народные мемуары

Петр МУРАТОВ. Как это было. Три истории из недалекого прошлого.	161
--	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Людмила БОГОМОЛОВА. Архив «короля сибирских писателей».	188
--	-----

Авторы номера	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Щукин.

Андрей НЕКЛЮДОВ

ВСЕСИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ КАРНЕГИ

Р а с с к а з

1.

Машина ушла, постукивая бортами и прощально виляя пыльным задом. На поляне остались четверо: Виктор, начальник отряда, и трое его подчиненных. А еще гора экспедиционного снаряжения.

Поплескивала рядом речушка, щебетали вразнобой птицы, гудели над цветами шмели. Высокие сосны и ели возвышались по сторонам и насыщали воздух теплым смоляным духом.

Виктор взирал на эту картину почти с ребяческой радостью. С неменьшим удовольствием оглядел он и свой маленький отряд: Вику, Федьку (Леха не в счет). Еще месяц назад он не поверил бы, что такое возможно. Что он окажется в поле с самой красивой девушкой института и со своим закадычным приятелем, бывшим сокурсником, весельчаком и балагуром. И все это благодаря... Нет, это просто чудо!

Вика считалась первой красавицей НИИ. А на последнем новогоднем банкете ей даже присвоили (неофициально) титул «Мисс геология» (хотя к геологии она имела весьма опосредованное отношение).

Была она смугла, белозуба, с карими миндалевидными глазами, предполагающими хотя бы каплю монголо-татарских или иных восточных кровей. На далеких предков-наездников намекала и едва заметная выгнутость ног, которая, впрочем, нисколько не портила фигуры, наоборот, придавала ей особую сексуальность, будоражившую многих сотрудников-мужчин.

Виктор не раз пробовал заговаривать с ней, однажды пригласил на танец на институтской вечеринке, но это, увы, ни к чему не вело. Ее внимания добивались многие. Так что шансов у Виктора было не больше, чем у других. А вполне вероятно, что и меньше. Дело в том, что, при нормальной фигуре и росте, у него имелся досадный изъян —

немного скривленный набок нос, память о занятиях боксом в студенческую пору. Хотя для женщин, говорят, это не столь важно — правильность мужской физиономии. А что тогда важно? Что может быть у него выигрышного?

Подмога подоспела с неожиданной стороны. Виктор и прежде слышал об американском психологе Дейле Карнеги, о его книгах, популярных во всем мире. Однако все как-то недосуг было почитать их, да вроде бы и ни к чему. Взаяся же он за них после знаменательной беседы с руководителем отдела. В кабинет шефа Виктор вошел рядовым инженером, а через десять минут вышел оттуда слегка смущенным, но вполне правомочным начальником полевого отряда (существующего, правда, пока лишь на бумаге).

Начальник же в понимании Виктора, даже самый маленький, должен быть большим дипломатом, то есть должен уметь ладить с людьми. Вот и пришлось новоиспеченному начальнику раскрыть Карнеги, дабы овладеть искусством «завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Штудирюя текст, он попутно открыл для себя немало ценного из смежных областей, в частности из области взаимоотношений мужчины и женщины. Кое-что он и самостоятельно постиг за годы студенчества и позже, что-то читал или слышал, но все это было разрозненно и туманно. У Карнеги же, что Виктора особенно подкупало, советы были абсолютно четкими и конкретными. Говорить с женщиной только о ней самой, не скупиться на комплименты, искренне восхищаться ею, оказывать постоянные знаки внимания в виде подарков и тому подобное.

Он начал с того, что каждое утро покупал в киоске розочку и ставил ее у Вики на столе в узкую вазу голубого стекла (им же приобретенную в первый день).

Вика работала в фондах института — выдавала по запросам сотрудников толстые потертые тома геологических отчетов и пухлые папки с набором графики. Особой дисциплинированностью она не блистала, и потому Виктор обычно появлялся задолго до ее прихода, как и вторая работница фондов, старушка столь же древняя, как и большая часть доверенных ей фондовых материалов.

Выбросив вчерашний цветок, Виктор ставил свежий и неспешно удалялся. Какая девушка в такой ситуации не испытает хотя бы элементарного любопытства: кто он, этот упорный даритель? Так что неудивительно, что однажды, на пятый или шестой день, Вика явилась на работу вовремя.

— Так вот кто здесь хозяйничает в мое отсутствие! — строго, но красиво изогнула она линии бровей. — А я от Марьи Васильевны ничего не могла добиться. Теперь вы застигнуты на месте преступления.

Голос ее, немного грудной, по-юношески хрипловатый, волновал и как бы даже щекотал тебя изнутри. Глаза мерцали, как расплавленный шоколад.

— Увы, — с покорным видом склонил голову виновник. — Застигнут и готов понести любое наказание. Можно, например, заточить меня



здесь в фондах и не выпускать. — Виктор обвел взглядом низкие сводчатые потолки.

— Хорошо, я подумаю об этом, — колыхнула ресницами красotka, усаживаясь на свое место.

— А чтобы лучше думалось, предлагаю испить по чашечке кофе, — ввернул Виктор.

— Не сейчас. В обеденный перерыв разве что.

С того дня он стал заглядывать в фонды во всякую свободную минуту.

Иной раз он заставал у Вики какого-нибудь ухажера конкурента.

— Не думай, у меня с ним ничего серьезного, — говорила чуть погодя Вика, одаривая Виктора прелестнейшей улыбкой (на «ты» они перешли как-то сразу и легко).

Бывало, они встречались за чашкой кофе в институтском буфете. И Виктор говорил с ней *только о ней самой*: о любимой ею музыке, о ее непростых взаимоотношениях с мамой, о ее мечтах-планах (она собиралась оставить институтские фонды и пойти учиться на бортпроводницу).

— Представляю, как ты будешь смотреться в летной форме! — достаточно искренне восторгался Виктор. — У тебя станет еще больше поклонников — целые полчища, которые будут летать повсюду твоими рейсами.

— Да ладно! — довольно поправляла будущая стюардесса свои шикарные волосы. — До этого еще далеко. Еще поступить надо. Там, между прочим, жесткий кастинг. По внешним данным я на сто процентов го-жусь, а вот психологический тест... Это самое трудное. Многие на нем срезаются.

— Ну, я в тебе уверен! И я уверен: тебе место не в этой пыльной норе, а в небе.

— Ты бы это моей маме сказал.

В часы, когда заказов не поступало, Вика листала глянцевые журналы, а то и покуривала от нечего делать, красиво, по-киношному, держа в тонких пальцах сигарету. Иногда учила английский, сосредоточенно сведя брови и шевеля губами вслед за голосом в плеере.

— Сочувствую тебе, — сказал Виктор однажды, сидя перед ее рабочим столом с неизменной вазочкой, из которой на сей раз торчал принесенный им банан. — Скучно, наверное, по восемь часов киснуть тут, возиться с этими пыльными талмудами? Не надоело?

— Ничего, я привыкла. К тому же осенью, как ты знаешь, у меня поступление на курсы. Недолго осталось скучать.

— Недолго? До осени еще о-го-го сколько! А лето? Прекрасное, жаркое, солнечное лето проторчать в этом склепе, где нет даже окон!

— А что, есть варианты?

— Варианты есть всегда. Например, поездка в поле. Отправиться в экспедицию с каким-нибудь отрядом... Вообрази: никаких тебе книженций, ведомостей, никакого начальства! Тайга, горы, чистые реки, ароматы

лесов и лугов! И постоянно новые места, маршруты, встречи с дикими зверями...

— Нет, зверей, пожалуйста, не надо.

— Ну хорошо, с дикой нетронутой природой.

— Звучит, конечно, завлекательно, но кто же меня возьмет? Я ведь не геолог.

— Как — кто? — подступил наконец Виктор к решающему моменту разговора. — Я возьму. Как раз набираю работников в свой отряд. Второй геолог у меня есть, нужны еще два техника. Пойдешь техником?

— Техником — это как? С машинами возиться? Что я должна буду делать?

— Не так много. Технику полагается носить в маршруте рюкзак с камнями. (Вика подняла брови.) Но тебе это не грозит: геологи у нас здоровые, сами будут таскать. Еще нужно заворачивать образцы, заполнять этикетки, вести журнал проб... ну и прочие мелочи.

— Ну-у-у... — выставила нижнюю губку мисс геология. — Это что же, в сапогах ходить резиновых и в несуразном каком-нибудь костюме?

— Не стану скрывать, — счел нужным предупредить Виктор, — это Сибирь, тайга, и условия там не городские. Комфорта особого нет: жизнь в палатке, готовка на костре. В общем, не для слабеньких. Зато это, кстати, помогло бы тебе пройти тот самый психологический тест, о котором ты говорила.

— Хм... Допустим, я соглашусь. А как же мое начальство? С какой радости оно меня отпустит? Увольняться я пока не намерена.

— Очень просто: мой шеф поговорит с твоим шефом — и всё уладят. Да и кому летом нужны эти фонды! Все в поле или в отпусках.

Мисс геология задумалась. Однако затем покачала головой:

— Нет. Ты знаешь... спасибо, но это не мое.

Виктор вышел от нее огорченный. Наверное, он был недостаточно убедителен. А может, она права и это действительно не ее, чуждый ей образ жизни.

Когда же на другой день он зашел в фонды, Вика встретила его вопросом:

— Ты вчера не шутил, когда предлагал мне поехать в это ваше поле?

— А что?

«Выходит, чем-то я ее все же зацепил!»

— Я тут подумала... Я ведь никогда не бывала в Сибири. И вообще в походах. Ну и тест этот опять же...

— Отличная мысль! Резонная! Всецело поддерживаю.

(Д. Карнеги: «Пусть ваш собеседник считает, что данная ваша мысль принадлежит ему».)

«Удача! — поздравил себя Виктор, отправляясь на переговоры к шефу. — Она будет моей! Теперь уж не выпущу из когтей эту птичку». Это он, конечно же, хорохорился, ибо не мог сказать заранее, как у них все сложится, не пожалеет ли эта абсолютно городская, изнеженная

«птичка» о том, что поддалась на его уговоры, не упорхнет ли. Хотя все может пойти и по-другому. Не исключено, что его любование Викой, его примитивное влечение перейдет в более глубокое, серьезное чувство... А она вдруг ответит взаимностью? Ну, тогда вообще!

И Виктор улыбнулся многообещающему близкому будущему.

2.

Кульков окончил геофак вместе с Виктором, однако не проработал в геологии ни дня. Сперва он значился директором левой фирмочки у одного своего знакомого, затем, когда фирмочка бесследно растворилась, протирал штаны в некоем безликом ООО. В настоящий момент он не работал вовсе, и Виктор полагал, что предложение отправиться с ним в Сибирь будет для Федьки подарком судьбы.

Но... Федька неожиданно заартачился.

— Ты знаешь, я собирался лето пробездельничать. И так уже напахался. — Длиннорукий и немного нескладный, Федька смотрел на друга младенчески-ясными, не ведающими стыда глазами. — И вообще, не хочу я на этот твой Север! Вот если бы на юг... чтобы тепло, фрукты и работа без напряжения...

И снова Виктор прибегнул к помощи безотказного Карнеги.

— Ты вечно выставляешь себя хуже, чем ты есть, Федюха, — как можно убежденнее заговорил он. — Я же тебя знаю давно. И знаю, что по натуре своей ты не такой. Если ты увлечешься, то работаешь лучше многих. Я помню, как мы с тобой шабашили — срубы делали. Ты еще ногу топором поранил.

— К черту! Не вспоминай! — отмахнулся приятель.

— Но ведь интересная была работа, согласись!

— Интерес был материальный.

— Не огрубляй. Я помню: мы оба были увлечены. А теперь подумай: что может быть интереснее работы в тайге? В новых местах, на природе... Когда если и устанешь, то хорошей, здоровой усталостью, когда чай у костра кажется божественным напитком, а спится после маршрута, как спалось лишь в детстве...

— Ты только не обижайся, Витек, — прервал его однокурсник, — меня этой лирикой не заманить. Я еще на производственной практике романтики хлебнул. Комары, мошка, маршруты под дождем, в сапогах хлюпает, в палатке мокро и воняет портянками, жратва — каша с тушенкой. Ну его на фиг, скажу тебе честно!

— Тогда послушай мое предложение, — прибегнул к последнему средству Виктор. — Шиш кто еще предложит тебе такие условия. Короче, заниматься будешь чем хочешь: хочешь — в маршрут идешь, хочешь — в лагере сидишь, хочешь — рыбачишь. Когда надоест — отчалишь домой, но в любом случае числиться у меня будешь весь сезон и весь сезон я тебе оплачу.

— Не шутишь? — сразу воодушевился приятель. — Ну, тогда кла-а-асс!.. Когда выезжаем?

— Они работать-то будут? — выразил Виктору свое беспокойство заводделом. — Вика — твоя подружка... я все понимаю... но уж больно кокетлива, извини меня; такие любят, чтобы за них всё делали. А этот твой друг — немного легкомысленный, мне показалось. Смотри, не им отвечать за результаты работ — тебе.

Возможно, в чем-то шеф был прав, тем не менее у Виктора имелись свои соображения на этот счет. За плечами у него было уже четыре полевых сезона, а это как-никак опыт. Даже если вся работа ляжет на него одного (если предположить такую крайность), то он справится. Но только при условии, что обстановка в отряде будет дружеской и веселой. Он заранее решил, что стиль его руководства будет радикально отличаться от общепринятого. По сути, выбранный им способ управления сводился к отсутствию какого-либо видимого управления вообще. Скрупулезно изучив писания Карнеги, он уяснил, что гораздо эффективнее не приказывать (*«никто не любит, когда ему приказывают»*), не заставлять людей работать, а незаметно, исподволь направлять их, поощрять, хвалить, рисовать перспективы, подталкивать на инициативу. Впрочем, как он позже узнал, существует иная книга — «Анти-Карнеги», в которой осуждаются любые манипуляции человеческим поведением. Он даже нашел ту книгу в Интернете, однако прочесть не успел. Как бы там ни было, главное — в этом Виктор был искренне убежден — это позитивное, радостное настроение в отряде, или, как это называют, *психологический комфорт*. И тут уж Карнеги безусловно прав, утверждая, что человек *«работает лучше и проявляет больше старания в обстановке доброжелательности»*. Ради этого Виктор и уговаривал Федьку: с Кульком ему всегда бывало легко и комфортно.

И все складывалось до сих пор именно так. Недаром в качестве тайного советника ехал с ними и старина Дейл. Это было сокращенное издание — подборка самых ценных советов прославленного психолога.

И этот незримый член отряда пока что блестяще оправдывал возлагаемые на него надежды. Так, в пути им пришлось заночевать на дебаркадере в ожидании попутного судна, и нетрезвый шкипер («хозяин» дебаркадера) сразу заявил, что груз в спальном комнате держать запрещено, что камера хранения не работает, кипятка нет, постельного белья тем более. Нимало этим не огорчившись, Виктор первым делом выяснил, как шкипера звать (*«помните: имя человека — это самый сладостный и самый важный для него звук»*), и в разговоре то и дело вворачивал это имя — Степан. Он расспросил, давно ли Степан работает здесь, предположил, что тому наверняка надоели всякие бродяги, требующие кипятка и постельное белье, и подивился, что даже в таких условиях Степан остался нормальным мужиком («что сразу видно»). В результате шкипер нашел



место для груза, принес им чайник с горячим чаем и разбудил рано поутру, за двадцать минут до подхода судна.

То же самое с машиной. Полчаса беседы с главой администрации о проблемах района и перспективах обнаружения тут полезных ископаемых («*интересуйтесь делами и проблемами других людей*») — и тудяга ЗИЛ-130 с готовностью распахнул перед ними свои борта.

3.

Единственной ложкой дегтя в предстоящем сезоне, как считал Виктор, был Леха, штатный инженер-геолог.

В институте Леху величали не иначе как Алексеем Евлампиевичем. Будучи одно время председателем профкома, Алексей Евлампиевич так вошел в роль, что в дальнейшем уже и не пытался из нее выйти. Короткий, с большим горбатым носом и торчащей вперед рыжеватой бородкой, он расхаживал по институту гоголем, говорил покровительственно, с командными интонациями.

Виктору в отряд бывшего профорга буквально навязали.

— Его руководитель настоятельно просил за него, — словно оправдывался перед Виктором шеф. — Алексей Евлампиевич пишет кандидатскую, а вот материала у него маловато, требуется это дело поправить. Отказать, сам понимаешь, мы не можем.

Виктора такой оборот, разумеется, не радовал. Особенно после того, как к нему подошли две женщины из отдела, где работал Алексей.

— Мы слышали, с вами едет Алексей Евлампиевич? — Они глядели на Виктора как на человека, которому грозит беда. — Не воспримите это как наушничество, мы просто хотим предупредить. В прошлом году Алексей ездил с нами в одном отряде. И представляете?! Он совсем ничего не делал — ни по хозяйству, ни по работе, всеми командовал, нашего начальника затюкал, писал кляузы в дирекцию института... Пока не поздно, откажитесь.

— Поздно, — дернул плечом Виктор. — Ничего, как-нибудь отработаем.

Но «как-нибудь» он сам не хотел. Он хотел отработать и с пользой, и с удовольствием. Еще и поэтому тянул с собой Федьку — для нейтрализации бывшего профбосса.

Предостережения сочувствующих женщин скоро подтвердились: до всяких хозяйственных работ — упаковки груза, закупки продуктов — Алексей Евлампиевич не снисходил.

— Ни фига себе барин! — не вытерпел Федька, после того как они вдвоем, без Лехи, разгрузили пришедшее на базу Красноярска снаряжение. — Я сам лодырь, а этот еще круче меня. Два лодыря на отряд многовато. Хочешь, я ему пистон вставлю?

— Может, ты и понадобишься с пистоном позднее, но сейчас я сам.

— Давай, вздуй его хорошенько! — потер ладони Федька. — Пусть знает, на кого нарвался.

Мистер Карнеги уверяет, что *«критика бесполезна, она заставляет человека обороняться и, как правило, оправдывать себя»*. Гораздо разумнее найти, за что человека можно похвалить, а затем сказать, что ждешь от него подобного и в остальном.

Однако в этот раз Виктор невольно отступил от карнегиевского курса. В душе у него скопилось столько раздражения и негодования по отношению к профбоссу, что, когда он увидел вечером его самоуверенную физиономию с надменно вздернутой бородкой, он позабыл все приготовленные грамотные фразы и неожиданно для себя свирепо гаркнул:

— Это что за мать твою так?!

— В чем дело? — слегка опешил инженер.

— Почему все разгружают, а тебя нет?!

— Я же вчера говорил, что мне надо в поликлинику, и ты это слышал, — начал тот, и речь его с каждым словом звучала все тверже. — Мне необходимо было проверить давление. А если ты забыл, то я тебе напоминаю. И впредь...

— Так вот! — перебил его Виктор. — Напоминать буду я тебе! За-рубни на носу: ты будешь отпрашиваться у меня, если куда-то собрался, а не ставить в известность. Это твоя обязанность. А с давлением вообще надо дома сидеть!

— Не тебе решать, где мне сидеть. Если же ты хочешь с самого начала испортить отношения, — бывший профлидер обрел привычный чиновничий тон, — то я не советую этого делать. Другие начальники...

— В отличие от других начальников, я не стану заниматься выяснением с тобой отношений — просто отправлю домой, и делу конец! — пригрозил Виктор.

— Это будет непросто: я ведь не пью, от своих прямых обязанностей не отказываюсь, и вообще, с дирекцией института у меня полное взаимопонимание.

«Зря я сорвался, — пожалел Виктор. — Только все дело испортил. Это неверный путь. Голыми руками его не возьмешь. Чего я добился? Ровным счетом ничего. Надо было все-таки действовать по Карнеги».

Федька держался прямо противоположного мнения.

— Как-то мягковато ты с ним, — раскритиковал он начальника. — Таким спуску нельзя давать, а то совсем оборзет. Давай я с ним разберусь, по-простому... Ка-а-ак вломлю ему! Сразу смиренный станет.

— Нет, этого не надо. У нас тут не армия.

— Ладно, и так его достанем. Для начала надо дать ему какую-нибудь кликуху. Или хотя бы имя переиначить. Я знаю: это хорошо действует.

Так Леха стал Гохой.

Сам Алексей воспринял переименование без восторга, и всякий раз, когда он слышал свое новое имечко, лицо его искажалось болезненной гримасой.

— Ты бы, Гоха, профсобрание провел, что ли, — допекал профорга Федька.

— Я тебе не Гоха, а Алексей Евлампиевич! — указывал тот, едва сдерживаясь.

— Это у себя в институте ты, может быть, и Евлампиевич, а здесь ты просто Гоха, — нагло заявлял насмешник.

4.

Поляна походила на широкую просеку. По ее краю тянулся след старой грунтовки, а над речкой нависал, чуть прогнувшись, деревянный мост с обломленными кое-где перилами.

Правее, ниже по течению, у широкой излучины виднелись крайние дома таежного поселка. Окруженные заборами, они напоминали полуза-топленные баржи, у которых из воды торчат только борта и надпалубные надстройки. Некоторые из них забирались на боковины гор, точно под-нятые волной.

Лагерь вблизи поселка — это и хорошо и плохо. Хорошо то, что не надо тащить с собой кучу продуктов и печься об их сохранении: всегда можно прикупить кое-чего в магазине. Опять же, почта, медпункт под боком. Плохо — что лагерь не бросишь без присмотра, придется остав-лять дежурного.

— Первым делом надо выпить чаю! — провозгласил Виктор, на-правляясь к соснам за хворостом.

— Чайку-то сейчас мочкане-ем! У-у-ух как мочканем! — вожделен-но потирал ладони Федька.

И вот они уже сидят на травке вокруг закоптелого чайника. Виктор с Федькой успели искупаться, и теперь у обоих с носа, с подбородка капает в кружки с чаем чистая речная вода.

— Клево здесь! — огляделся по сторонам Федька. — Здорово ты придумал меня взять!

В это время из-под уклона травянистого берега показалась Вика в ярко-синем с блестками купальнике — тоже окунулась. Она белозубо улыбалась Виктору. А может, им всем. Мокрые плети темных волос при-липли к плечам, глаза так и искрились.

Виктор покосился на соратников. Те поглядывали на смуглянку, даже носы у обоих заострились. У Виктора в душе вместе с легкой ревностью шевельнулось чувство гордости.

Кулек, когда впервые увидел их с Викой вместе, шепнул с восхище-нием: «Ну ты, Витек, и деваху отхватил! Что надо девах! Прямо фото-модель». Сейчас, глядя на нее, Виктор вновь подивился произошедшему чуду: она, эта избалованная мужским вниманием нимфетка — здесь, в Сибири, рядом с ним!



— Чай — это, конечно, зашибись, — лениво потянулся Федька, отвалившись на траву, — но меня волнует вопрос, как мы будем питаться. Кто будет готовить?

— Очень просто, — ответил Виктор, — кто самый голодный, тот и готовит.

— Нормально! — усмехнулась Вика.

— Нормально? Для этого есть техники. Я, как инженер, готовить не обязан, — надулся Гоха.

— Жрать захочешь — приготовишь как миленький! — хохотнул Федька. — Только чувствую, что придется кашеварить мне: я похавать люблю. Сейчас я бы поел чего-нибудь деревенского. Молочка, например, или сметаны...

Палатки поставили две: шестиместную для мужской части отряда и груза и четырехместную — для дамы.

Виктор занес в жилище Вики ее вещи. Внутри палатки, пока еще не обжитой, в ее интимной полутени очутился кусочек поляны — шелковистая трава, цветы: ромашки, лютики, земляника.

— Все эти цветы — тебе! — Он сделал широкий театральный жест.

Мисс геология снисходительно улыбнулась:

— Благодарю вас! А теперь выйди, пожалуйста, мне нужно переодеться.

Она стояла перед ним — прямая, смуглая, горячая от солнца, с узкой удлиненной талией, которую ужасно хотелось обвить руками. А Виктор к тому же пребывал в задорном, радостно-шаловливом настроении, чтобы просто так уйти.

— Переодевайся: я ничего не вижу. Я слеп! — заявил он, усаживаясь на пол. — Я ослеплен твоей красотой. Но если хочешь, я не буду смотреть. — И он старательно зажмурился, сморщив лицо и еще больше скособочив свой кривой нос.

— Виктор! — Она пыталась держать строгость. — Перестань дурачиться!

Он открыл глаза. Под пологом палатки, выгоревшей за прошедшие сезоны до желтизны, распространялся теплый, янтарный полусвет.

— Стой! Замри! — вскричал Виктор негромко.

— Ну что еще?

— Не шевелись! — Он вскочил на ноги и приблизился к ней, сутулясь под навесом брезента. — О-о! Ты вся золотишься! Повернись чуть-чуть в профиль. Вот так. Жалко, ты сама себя не видишь. Этот мягкий свет на твоем лице, плечах, руках... и эти цветы вокруг... Живая картина! «Весна» Боттичелли! — Ничего другого, более подходящего, он в памяти не выкопал. — Только загорелая.

— Хорошо. Я рада. А теперь, пожалуйста...

— Одну минуту! Только минуту! Прошу тебя: приляг.

— Это еще зачем? — непонимающе шевельнула она ресницами, но в глазах уже поигрывало любопытство.

(«Не переставайте женщину удивлять» — это, кажется, не из Карнеги, хотя вполне в его духе.)

— Прощу! Приляг на минуту. И после этого я уйду. Мне видится образ... Волшебный! «Спящая Венера». Ляг на спину и немного набок.

Вика посмотрела на него продолжительным, испытующим взглядом и покорилась.

— Только не думай, что если я поехала с тобой, то это что-то означает...

— Венера! — не слушая ее, воскликнул соблазнитель и опустился на колени. — Истинная Венера! Джорджоне! Комплекция, конечно, другая, но спокойствие и красота линий — богини! С тебя можно писать картины, поверь.

Доктор Карнеги, несомненно, остался бы доволен: Виктор показал себя способным учеником. Соединив перед грудью ладони, словно верша некий молитвенный ритуал, он склонился над своей Венерой, над ее ослабленным, пахнущим солнцем, манящим телом...

В эту самую секунду снаружи донесся треск мотора.

— К нам гости? — очнувшись, приподняла точеные плечики Вика.

Виктор досадливо выглянул наружу. К мосту причалила помятая дюралевая лодка, и из нее, громко матерясь, выбрались на скрипучий настил двое парней лет по двадцать пять — двадцать восемь.

— А вы кто такие?! — изумились и даже как будто возмутились приехавшие, заметив палатки и незнакомых людей. — Геологи? Вот новость. Давненько не было! Ну, тогда давайте, геологи, с нами по кружечке, — предложил один, побалтывая в трехлитровой банке белесую жидкость.

— Я не пью, — сразу объявил Гоха.

Федька мялся, с опаской поглядывая на банку.

— Обидите, — строго предупредили парни.

— Вон наш начальник! — обрадованно указал Кульков на подошедшего Виктора. — Он бывалый, он за нас выпьет. Витек, придется тебе пить, — как бы извиняясь за «подставу», развел он руками.

А парни уже наливали, да так, что по доскам моста зазмеились ручейки.

— А сами вы откуда? — спросил Виктор, с трудом осилив кружку горько-сладкой, воняющей дрожжами браги.

— Откуда... Отсюда. Откуда нам еще быть? — отвечали те, косясь на Вика, выплывшую из палатки в красно-желтом летнем сарафане.

Виктор вспомнил про Карнеги и, подмигнув Федьке, заговорил:

— Красота здесь у вас! Не то что в городе. Вам можно позавидовать — в таком классном месте живете.

— А то! — Парни польщенно заулыбались.

— И травы какие богатые! Вкусное, наверное, у вас тут молоко.

— А что, молока надо? — обращаясь почему-то к Вике, простодушно воскликнул один, с бурой веснушчатой физиономией.

— Не отказалась бы, — улыбнулась красавица, кокетливо склонив голову к плечу и щуя глаза.

— Допивай! — приказал веснушчатый приятелю. Он прополоснул банку в речке и кивнул Виктору: — Пойдем. Пешком быстрее обернемся.

Они двинулись в сторону виднеющихся домиков.

— Володька, — представился парень дорогой. — А тебя как? А девушку? Виктория? Чудно. А мы тут, понимаешь... Про Сизого слышал? — не в лад спросил он. — Он мой кореш. Не слышал? Ну, значит, еще услышишь.

Поселок, казалось, вымер. По пустынной улице ветерок лениво мел пыль. Лишь вдоль заборов по нагретому дощатому тротуару бродили чужаки с добродушно-глупыми мордами. Тем более неожиданной явилась для Виктора сцена, разыгравшаяся на следующей улочке. Трое пацанов рысью катили мотоцикл, а за ними в облаке пыли бежал, спотыкаясь, в дым пьяный здоровенный парень в разорванной на груди рубашке и с длинным кухонным ножом в руке.

— Я вам, мля, говорил, чтоб вы, мля!.. — рычал он.

Он догнал одного из подростков (двое других в это время торопливо заводили мотоцикл, но агрегат, как часто бывает в подобных случаях, и не думал заводиться). Настигнутый парнишка, видать, не лыком был шит — успел вырвать из забора жердь и выбил ею из рук нападавшего нож. Однако силы были неравными: пьяный отобрал у мальчишки дрын и с размаху обрушил тому на плечо. Несчастный рухнул навзничь, не издав ни звука, а детина продолжал со всей дури лупцевать его жердью по груди. Чувствовалось, как у лежащего все внутренности подпрыгивают в такт ударам. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не вмешался Володька, спутник Виктора, да еще прибежали две теткы и, причитая, увели пьяного. Побитого Виктор помог взгромоздить на мотоцикл (парнишка так и не пришел в себя), и троица в плотной сцепке покатила прочь.

Вновь воцарился покой, а улица приняла изначальный одурманенно-сонный вид. Из ворот ближайшего дома вышла женщина в сером мужском пиджаке и широкой юбке, с комочком ваты в руке.

— Вот нашатырь несю, да гляжу: не нужен. Ох, думала, убив он ево. Экой буян, ить только из тюрьмы вышел — уже за нож! Опять, значит, посодют...

У этой хозяйки Виктор и купил молока по смехотворно низкой цене.

Сцена на окраине поселка произвела на него удручающее впечатление, как если бы он стал свидетелем чужой семейной склоки. Подумалось, что вряд ли их жизнь тут будет такой уж безмятежной. Он решил не рассказывать своим об этом эпизоде, чтобы не настраивать на плохое. А Володька, похоже, вовсе не придавал случившемуся значения.

Когда они с банкой молока подходили к лагерю, там велся разговор про рыбалку.

— Щука здесь есть? А хариус? — выкрикивал в азарте Федька.

— Вы-то, наверное, если уж рыбачите, то по-крупному, — подключился Виктор. — Но что-то не верится, чтоб у вас тут водилась нормальная рыба.



(Это было также из карнегиевского арсенала: «Бросай вызов, заставь жить».)

— Не верится?! — вскочил на ноги Володькин дружок. — Любишь рыбу? — резко повернулся он к Вике.

— Смотря какую.

— Тогда засекай время. Через двадцать минут будет рыба. — Он прыгнул в лодку и дернул стартер.

И в самом деле: через двадцать минут Вика угощалась соленой стерлядью (и все остальные заодно). Хвала Карнеги! Вот только в душе у Виктора остался какой-то камешек — маленькое чувство неловкости, как будто он обманул в чем-то этих парней. Так же как и зрителя дебаркадера, и главу администрации района.

Рев мотора вывел его из задумчивости.

— Бывайте! — крикнул Володька из лодки, и вместе с напарником они помахали Вике.

— А банку? — спохватился Виктор.

— Оставьте себе!

Федька после отъезда гостей напряг кулаки и заявил:

— Все! Вы завтра можете валить в свой маршрут, а я остаюсь и занимаюсь рыбалкой. Я с моста уже засек парочку хариусов.

5.

Началась работа, маршруты, и к Виктору вернулось солнечное настроение. Он скоро забыл ту историю с поножовщиной, окружающий мир по-прежнему был улыбчивым и гостеприимным. Тайга, горы, геологический молоток в руке, топокарта — все для него было привычным, но вместе с тем как будто новым, радостно-волнующим после долгого пребывания в городе. Ноги послушно и упруго шагали по камням, по болотному мху, глаза придирчиво ощупывали склоны, скалистые уступы и останцы.

В первый же день работы Виктор выявил в обрывах речки отличные скальные выходы и дня за четыре составил разрезы, то есть зарисовки этих обнажений в масштабе, с детальным геохимическим опробованием.

Случались, правда, и не столь удачные дни. Так, однажды, двигаясь по азимуту, он угодил на старое пожарище. Черные скелеты лиственниц с крепкими, как железные пики, обгорелыми сучьями, а между ними — дэбри иван-чая выше человеческого роста. Ни впереди, ни по сторонам ничего не было видно, однако ничего не просматривалось и под ногами, так что геолог постоянно куда-то проваливался, спотыкался, падал на четвереньки. День клонился к вечеру, и Виктору стало чудиться, будто весь мир — это сплошное пожарище и заросли кипрея.

Зато с каким сладостным чувством думал он о том, как, вернувшись вечером в лагерь, увидит свою Вику, как обнимутся они в их уютной палатке! Да, его настойчивость вкупе с чудодейственными рекоменда-



ми Карнеги сделали свое дело: на третий день пребывания тут Виктор, провожаемый завистливыми взглядами мужчин-коллег, перетащил свои пожитки и спальный мешок в палатку Вики. (Хорошо, что ее жилище он предусмотрительно установил на приличном расстоянии от мужского.)

И тем не менее, как ни странно, совершенно счастливым Виктор себя не чувствовал. Вика была с ним нежна и ласкова. И довольно страстна. Но не более того. Она обнимала его изящными руками, по-кошачьи выгибалась над ним, смотрела ему в глаза темными, мерцающими в сумраке глазами, хотя он не чувствовал в ее взгляде того самоотрешенного, почти жертвенного огня, каким в его понимании должны гореть глаза любящей женщины. Вика как будто благосклонно дарила ему себя, и то не навсегда. Может, он слишком многого от нее ждал? Или слишком торопил события? Всему свой срок. Ведь и сам он... Да, он любовался ею, трепетал от ее нежных прикосновений, но видел ли он в ней ту единственную душу, которую хотелось бы оберегать, нести как свечу и посвятить ей жизнь? Пожалуй, нет. А между тем она влекла его к себе все сильнее. Теперь он уже не в силах был бы от нее отказаться.

Вика обычно сопровождала в маршрутах Леху. Одиночные маршруты, запрещенные техникой безопасности, Виктор мог позволить только себе. Правда, случалось, что Гоха оставался в лагере, ссылаясь на повышенное давление (в чем Виктор сильно сомневался). В такие дни Виктор брал с собой Вику. В светло-зеленом просторном костюме она выглядела как сублильный узкоплечий подросток (если не замечать темного хвоста за спиной). Она оказалась довольно выносливым ходоком. Поскольку ходила в кроссовках, через водные преграды Виктор переносил ее на руках. Она обвивала левой рукой его шею, а ее волосы скользили по его лицу, порой закрывая видимость. Это доставляло ему какое-то дурманное удовольствие.

— Лешка тебя тоже переносит? — спросил он как-то.

— Переносит, а как же! — отвечала напарница.

«Действительно, а как иначе? Не разуваться же ей каждый раз», — подумал Виктор.

Федька рыбачил или просто бездельничал в лагере. Но иногда, к недовольствию Гохи, подменял в его паре Вику.

На дежурного по лагерю не приходилось почти никаких дел, разве что сварить ужин да завернуть принесенные накануне камни. Иногда Виктор давал приятелю кое-какие мизерные задания — натаскать дров или сделать ручки к двуручной пиле. Если будет охота.

— Из того, что ты мне говорил, Витек, я сегодня ничего не сделал, — чистосердечно признавался вечером Кулек, только теперь начиная разводить костер.

— Хотя бы чаю заварил к приходу, — бурчал Гоха.

— Ты в маршруте, что ли, чаю не напился? — нахально восклицал дежурный.



— В маршруте я работаю!

— Так мы тебе и поверили.

— Ерунда, через пять минут вскипит, — примиряюще говорил Виктор. — В следующий раз, я думаю, Федя обязательно что-нибудь приготовит и даже удивит нас необычным блюдом, — подбрасывал он карнегиевскую приманку.

Только без толку: Федька был в курсе насчет Карнеги. «Знаем мы эти приемчики», — как бы говорил он, понимающе кивая другу. К тому же напрочь был лишен честолюбия.

— Слушай, — озабоченно поделился он как-то с начальником. — Я здесь так обленился, не знаю, как потом смогу работать, когда куда-нибудь устроюсь. Ты меня хоть в маршруты почаще гоняй.

— Мы как договаривались? Что заставлять тебя я не буду, — отвечал Виктор. — Сам себя гоняй. Или Гоху попроси.

— Ну ты сказанул!

Вика, поначалу с энтузиазмом наводившая в лагере порядок и чистоту, видимо, под влиянием общей безалаберности или по какой-то иной причине вскоре тоже перестала стараться. Оставаясь дежурной, она большей частью загорала, читала книжки, мыла и часами расчесывала свои шикарные волосы и часто даже не удосуживалась убрать с ящика-стола утренние недоедки.

— Вика здорово поработала над этой кашей! Но мы знаем, что она способна на большее и в следующий раз удивит нас кайфовеjším блюдом, — пародировал Федька начальника и Карнеги, ковыряя в тарелке надоевшую кашу с тушенкой.

— Вика вообще молодчина! — подтверждал Виктор.

— Вика, слышишь? Мы верим в тебя. И в твои кулинарные таланты!

— Я рада, — делала та улыбочку, и все шло по-прежнему.

Странно, недоумевал Виктор, до сих пор на всех встречных-поперечных Карнеги оказывал прямо-таки магическое влияние, почему же он не действует сейчас на его коллег?

Между тем окружающая природа, воздух, запахи тайги, пение птиц и стук дятла на ближайшей сосне сглаживали эти мелкие шероховатости. Обступившие поляну ветвистые сосны, несколько высоченных елей и лесистые горы за ними выглядели по вечерам, освещенные низким солнцем, выпукло, почти сюрреалистически.

— Мы как перед сценой в театре, — подметила однажды и Вика, наблюдая дремотно плывущий над рекой розоватый, подкрашенный закатом пар.

С наступлением темноты пейзаж местности становился еще более завораживающим. Каждый предмет, растение, казалось, обретали свою, неведомую человеку жизнь, о чем-то переговаривались (не как люди, а по-своему, на языке запахов например), о чем-то думали, и думы их текли отдельно от них — в виде тумана или прохладного света луны.

И в каждом отчетливее проступал его характер. Вот ель — черный заостренный силуэт на звездном фоне неба — само величие и мудрость. Молодые сосенки возле палаток — наивность и скрытое озорство — точно пацаны или щенята. Две березки у моста — само собой, девочки в своей еще незрелой, полной нежности красе. Лиственницы — в них ощущается бывалость и деловое, практическое знание жизни. А костер? О чем трепещут его огненные языки, навевая какую-то неземную грусть? Человеческому уму этого не постичь, физика с химией тут бессильны. Зато окружающие деревья и кусты и негромко булькающая речка — эти, похоже, в курсе. Одна компания! И луна из их числа — выглядывает многозначительно из плетенья облачных нитей.

А вот палатки они не посвящают в свои дела. Те даже не знают природного языка, отвергнутые, навсегда привязанные к человеку.

Их с Викой палатка вдруг чудесно озарилась изнутри, точно китайский фонарик, — это Вика затеплила свечку. В такие минуты очарованного состояния души Виктору чудилось, что вот еще немного, небольшое внутреннее усилие, незначительный сдвиг в мировосприятии — и он включится, вольется в этот исполненный тайнами мир природы, станет слышать и понимать его речи. Но тогда для него, возможно, навсегда закроется привычный мир: Вика, остальные его подопечные да и вообще все люди сделаются для него непостижимыми.

6.

Гоха маршрутил недолго. Однажды после работы он отправился в поселок в свое любимое учреждение — поликлинику (то есть медпункт), а по дороге решил зайти на почту и был покусан собакой.

— Прямо на почте?! — воскликнул Федыка, выслушав Лехину детективную историю. — Может, это был почтальон — противник профсоюзов?

— Не на почте, а на улице, — пробурчал пострадавший.

С этого дня Гоха сидел в лагере с перебинтованной рукой и подчеркнуто скорбной физиономией. И хотя ранка, на взгляд Виктора, была пустяковая (след одного-двух зубов), Гоха уделял ей беспримерно много внимания: ходил на перевязки в медпункт, устраивал всяческие процедуры, компрессы, примочки.

— Ну что, Вика, давай займемся? — обращался он по вечерам к мисс геологии. И та с готовностью разматывала Гохины метровые бинты и колдовала над болячкой со всевозможными мазями.

— Гоха до конца сезона с забинтованной рукой будет ходить, — язвил Федыка.

— А тебе какое дело? — огрызался покусанный.

— Все лекарства в аптечке поизвел, — ворчал техник, как будто его так уж волновало состояние аптечки.

Виктор тоже не всегда удерживался от издевок.

— Не помните, через сколько дней проявляется бешенство? — с озабоченным лицом обращался он к коллегам. — Какой там инкубационный период? Кажется, от десяти дней? Значит, пора уже быть начеку.

— Придется Гоху в клетке держать, — подхватывал Кулек. — А то нас всех искушает, когда сбесится.

Вика тоже похихикивала, прикрывая улыбку ладонью, но продолжала добросовестно, почти с сестринской нежностью возиться с Лехиным укусом. И особенно старалась, казалось Виктору, если видела, что он, Виктор, за ней наблюдает.

«Наверное, как будущей стюардессе, ей необходимо уметь оказывать простую медицинскую помощь», — убеждал он себя.

— Надо бы и мне чем-нибудь заболеть или собакой укуситься, чтобы Вика меня полечила, — ревниво заявлял Федька. А наедине с однокурсником высказался так: — Что-то ты, Витек, слабо Гоху гоняешь. Ты бы его побольше гонял, а то он сильнее меня обленится, симулянт: то давление у него, то рука. Хочешь, я его погоняю?

Виктор не воспринял его слова всерьез, однако как-то утром Федька поднялся сразу после начальника (что уже само по себе происшествие) и пришел в страшное негодование оттого, что Леха все еще валяется.

— Эй, Гоха, совсем оборзел? А ну, быстро вставай и делай чай! — накинулся он на мирно посапывающего инженера и поволок его вместе со спальником из палатки.

Леха выскочил из мешка точно черт из табакерки, волосатый, раскоряченный, с вытаращенными от возмущения глазами и воинственно торчащей бородкой. Через секунду оба уже катались, сцепившись, по мокрой от росы траве.

— Мужики, кончайте! — кинулся разнимать их Виктор.

— Ла-а-адно, — процедил Леха, после того как Виктору удалось оторвать драчунов друг от друга. — Я в дирекцию института все доложу. Сегодня же.

— Тогда, Гоха, попробуешь моего кулака, — пообещал Федька, убедительно потрясши этим самым кулаком у него перед носом.

— Федор, ты не прав. У нас в отряде, кажется, есть начальник. Почему ты вместо меня наводишь порядки? Что за самоуправство? — с преувеличенной строгостью отчитал Виктор приятеля.

Федька многозначительно подмигнул ему в ответ: мол, он понимает, что это всего лишь психологический прием, рассчитанный на Гоху.

Нельзя сказать, чтобы Виктор был так уж недоволен происшедшим, но ему и в самом деле не нравилось, что оболтус Федька пытается брать в свои руки бразды правления. Да и метод воздействия, полагал он, был абсолютно неграмотный и примитивный. Как бы там ни было, он решил подкрепить Федькины грубые меры более тонкими стимулами.

Вечером того же дня он спросил у инженера как бы между прочим:

— Леш, у тебя публикаций достаточно для защиты?

— Маловато, — вздохнул тот.



Виктор это и так знал от своего шефа.

— Если получим по нашему участку интересные результаты, можем написать в соавторстве статейку.

— Было бы здорово! — Соискатель даже бородку вдохновенно вскинул.

— Ты что, Гоха, диссертацию пишешь? — тут же прицепился Федька. — На какую тему? Не говори, я угадаю! «Лечение примочками хитрющего профсоюзного босса»!

Федька приписал заслугу себе, но Виктор был убежден, что именно благодаря Дейлу Карнеги Гоха после этих событий скоропостижно поправился.

7.

Вике теперь некого было опекать, и, может быть, оттого она заметно приуныла.

— Ну как ты? Скучаешь? — немного виновато спросил у нее как-то Виктор. — Потерпи немного. Через две-три недели мы переберемся на новое место. Там лагерь охранять не придется, так что Федька будет ходить в паре с Лешкой, а ты — со мной.

— И это будет ужасно весело, — ответила Вика с нескрываемой иронией.

По вечерам мисс геологию донимал гнус и она пряталась в палатке с наушниками в ушах.

Однажды Виктор уже в сумерках возвращался из маршрута, уставший, с одним желанием — поесть и завалиться спать. Подходя к лагерю, он увидел рядом с палатками десяток мотоциклов, а у костра толпу ребят лет по шестнадцать — двадцать. Федька, Вика и Леха сидели среди них и, похоже, отнюдь не скучали. То и дело раздавались взрывы хохота. При появлении начальника веселье немного пригасло, но после знакомства (Виктор запомнил только Костю Большого, Костю Мелкого и манерного загорелого парня в темных щегольских очках по кличке Маньяк) разговоры и смех возобновились.

Он присел к огню. Чайник оказался пустым, ужина не было.

Между тем Костя Большой, в котором, несмотря на грозный череп, намалеванный на футболке, и черный платочек-бандану на круглой голове, угадывался добродушный мальчик, предложил Вике прокатить ее. Девушка вопросительно взглянула на Виктора. Тот пожал плечами: если хочешь, почему не прокатиться?

Одним рывком Костя завел свою изумрудную «Хонду», горделиво оседлал ее, Вика, в легкой рубашке и джинсах, пристроилась на заднем сиденье, и они припустили по ухабистой грунтовке. Чувствовалось, что Вике страшновато, но она героически улыбнулась и даже помахала рукой, когда они минут через десять промчались в обратном направлении мимо лагеря, и лишь взвизгнула, когда мотоцикл влетел на шаткий мост. Тем-

ные волосы ее развевались сзади, точно хвост кометы. Под ней сейчас был не мотоцикл, а горячий конь ее далеких предков.

Потом подругу Виктора катали по очереди все, пока она, обессиленная, не свалилась со смехом на траву у палатки. Конечно, думал Виктор, заскучала она тут среди одних и тех же лиц, без свежих впечатлений и ярких событий. И все же какое-то смутное беспокойство, колкое бередящее зернышко проникло ему в душу да там и осталось.

Не показывая недовольства из-за отсутствия ужина, он разогрел на костре банку тушенки, съел ее с куском черствого хлеба и отправился спать. Однако шум и хохот у костра не способствовали скорому засыпанию. Особенно почему-то нервировал его смех Вики. Мисс геология находилась в центре мужского внимания. Шутки, анекдоты — все это явно адресовалось ей. Виктора так и подмывало выйти, схватить девочку за руку и силой увести в палатку. Но это было бы слишком грубо, совсем не в стиле Карнеги. Чушь! Не в Карнеги дело! Дело в том, что так можно поступить лишь со *своей* женщиной. А может ли он считать ее своей?

Когда уже за полночь гости разъехались и Вика, тихо ступая, пробралась в их жилище, Виктор все еще не спал и не сдержал вздоха при ее появлении. Она присела возле него.

— Ты не сердись на меня?

— Нет, все нормально. Не с одним же мной тебе общаться.

— И ты... не ревнуешь меня?

«*Никогда не ворчите, не ревнуйте!*» — Виктор хорошо помнил этот призыв Карнеги. «*В ревности — инстинкт собственника*», — утверждал другой авторитет (кажется, Николай Бердяев).

— Нет конечно. Ревность — чувство собственника, — повторил Виктор чужие слова. — Ты же не моя собственность, ты свободный человек.

«Ах как благородно!» — покривился он в душе.

— Витечка, ты у меня такой... такой редкий мужчина!

— Есть еще выражение: редкостный дурак.

— Перестань! Это не про тебя.

Отныне геологи не могли пожаловаться на недостаток общения. Юные мотоциклисты стали навещать их ежевечерне (а некоторые — и днем) и просиживали у костра до глубокой ночи. Поскольку изъясняться без матерщины они не умели, то Вике приходилось терпеть. Если она делала им замечание, то они попросту смущенно умолкали. Впрочем, она удивительно быстро адаптировалась.

Со своими машинами эти сибирские байкеры обращались ловчее, чем геологи с молотками. Даже жаргон их отражал пристрастие к технике. «Не наезжай на меня! — отбивался кто-нибудь в разговоре от нападок дружков. — Колеса не помыл, а наезжаешь». Или: «Ловко подъезжаешь» — то есть хитришь. «У тебя поздно зажигание срабатывает» — в



смысле: плохо соображаешь. «На первой скорости идет» — надо понимать: медленно. И тому подобное.

Виктор первое время присоединялся к компании, вникал в разговоры. Пересказывались в основном эпизоды поселковой жизни, а эпизоды эти сводились либо к дракам, либо к «прикольным» моментам. Маньяк, например, несколько раз повторял историю, как его «сняли с мотоцикла менты» (кто-то украл мотоцикл, искали похитителя) и по дороге в отделение он кричал: «За что?! Я никого не убивал! Я не убийца!» Тут «зажигание срабатывало» безотказно — следовал взрыв хохота. С особым почтением упоминались местные авторитеты: некто Сизый, король поселка, и его приспешники — Тыквин и Дубов.

Скоро, однако, Виктору наскучила эта бесконечная бравада, к тому же сказывалась усталость — он уходил в палатку, не дожидаясь, пока гости разъедутся. Остальные члены отряда (и Вика в их числе) развлекались допоздна, а поутру их было не растолкать.

Его удивляло, что Гоха, этот зануда и ханжа, без труда вписался в молодежный круг, смешил всех анекдотами и скоро стал чуть ли не главным затейником. Федька — тот хорошо себя чувствовал в любой компании. А вот Вика, как нетрудно было заметить, просто купалась во внимании бесчисленных кавалеров. Один катал ее на мотоцикле, другой угощал земляничкой, третий учил плавать, от четвертого она выслушивала признания в любви. Днем, когда она оставалась дежурной, Костя Мелкий таскал ей дрова и воду, а Костя Большой мотался в магазин за продуктами.

Парни рассказывали, что по поселку среди молодежи пронесся слух: дескать, у «зеленого моста» (название, как видно, сохранилось дольше, чем краска) живет красавица геологиня. И все теперь жаждали на нее посмотреть и познакомиться. Неудивительно, что всякий раз у костра появлялись новые лица. Все они, как и их имена, перемешались у Виктора в голове, а вот Вика знала каждого не только по имени, но и по фамилии.

— Ты и так блистала, а теперь вообще суперстар! — выразил ей свое восхищение Федька. — Все в поселке в тебя повлюблялись. И я их принимаю. Я и сам бы за тобой приударил... да лень.

— Вот ты какой, — без тени обиды проворковала обольстительница.

— Лодырь, — охотно согласился Федька. — Но у тебя и так хахалей хватает. Плохо только, что мы ничего от этого не имеем, — прибавил он озабоченно. — Ты бы что-нибудь с них брала. За любованье. Варенье, например. Почему у нас к чаю нет варенья? Намекни им, что любишь варенье.

— Какой ты прагматичный!

Тогда Федька сам обмолвился при гостях, что Вика обожает варенье. И на другой же день, как по волшебству, без всякого участия Карнеги, появилось множество баночек с разными вареньями, которые Кулек уплетал без малейшего зазрения совести.

Была кое-какая польза и для Виктора. Маньяк, например, сам предложил и несколько раз подбрасывал его на своем мотоцикле к началу



маршрута. А Костя Большой пригласил весь их маленький отряд к себе в баню.

Однажды вечером Виктор с Федькой прокатились вдвоем на мотоцикле Маньяка.

— Не бойсь, я маленько умею, — заверил Виктора приятель, усаживаясь на водительское место.

На обратном пути за рулем сидел Виктор. Он испытал вдруг колдовское воздействие скорости. Рыча вместе с мотоциклом, он все сильнее выжимал ручку газа, с восторгом отмечая послушность машины своей воле. Они резво промчались мимо лагеря, и Виктор стал выруливать на мост. Однако мотоцикл отказывался поворачивать. Сбросить скорость он по неопытности не сообразил. На полном газу они летели к краю насыпи, за которым были кусты, обрыв и речка.

— Витек, блин, тормози! — взмолился сзади Федька. — Тормози!

Но Виктор забыл, где находится тормоз. Их неуклонно несло к обрыву. И в тот момент, когда казалось, уже ничто им не поможет, оба совершенно инстинктивно, разом оттолкнулись от рокового края ногами и чудом выскочили на мост.

— Ну ты даешь! Чуть в речку не улетели! — облегченно расхохотался приятель, когда они остановились. — Я уж приготовился к нырку, воздуху набрал.

А Виктор вдруг ощутил странное сожаление, что ничего такого не произошло — такого, что, возможно, заставило бы побледнеть и испугаться за него Вику.

8.

Между тем ежедневные эти сборища и толкотня в лагере нравились Виктору все меньше.

Как-то, вернувшись из маршрута раньше обычного, он застал Вику лежащей на резиновом матрасе рядышком с Костей Мелким. Оба вскочили на ноги при его появлении.

— Начальник, забери от меня этого малолетку! Он не дает мне готовить, — притворно пожаловалась дежурная («начальник» — это было что-то новенькое). — А еще пытался меня утопить.

— Не утопить, а научить плавать, — мужским басом возразил «малолетка».

«Что происходит?» — спрашивал себя Виктор. — Я здесь как будто лишний».

Временами Вика как бы вспоминала про него, пытливо заглядывала в глаза, словно чего-то от него ожидая — слов или действий.

— Ты чего так смотришь?

— Так, ничего, — уклонялась она от ответа и отходила, сексуально двигая прелестными бедрами. А через минуту уже щебетала с кем-то из своих бесчисленных ухажеров.

Чаще других стал появляться молчаливый широколицый парняга с мускулистыми трудовыми руками. Все звали его Лосем, и было неясно, фамилия это или прозвище. Приходил Лось обычно задолго до остальных и в отличие от остальных — пешком. Он присаживался где-нибудь в сторонке в своих большущих резиновых сапогах, облепленных заплатками, и не сводил глаз с «красавицы геологини». Иногда изрекал что-нибудь вроде: «А в большой реке рыба пошла» — и снова надолго умолкал. «Красавица геологиня» не устаивала даже взглядом этого бессловесного дыхателя, но он все равно просиживал часами.

Бывало, Лось приходил с удочкой и наловленной рыбой и весь улов оставлял геологам. А однажды, будучи слегка выпившим, разоткровенничался — признался Виктору в любви к реке.

— Поверишь-нет? — уставил он на Виктора немигающие глаза. — Днями могу по ней бродить. Вот для тебя это просто речка, а для меня все! Реку — ее понимать, ее чувствовать надо. Вот когда ты ее поймешь — каждую ямку, каждый ее пережат — ты без рыбы не вернешься.

Федька, у которого ловилась одна плотва (сорога, как ее тут называли), отправился как-то рыбачить с Лосем и вернулся довольный, с пакетом хариусов.

— У них тут рыбалка не как у нас, — радостно сообщил он. — Все по-другому. Ни поплавка, ни грузила не надо. Зато теперь я спец! Теперь рыба бу-у-удет! — торжествующе потер он ладони.

Рыба и впрямь появилась, вот только чистить ее никто не желал.

По вечерам Виктор лежал один в палатке и против воли слушал треп у костра, гогот, Лехины анекдоты.

— Тише, — доносился иной раз голос Вики, — начальник спать лег.

В ее тоне Виктору чудилась не столько забота, сколько ирония. Уснуть они ему все равно не давали, бубня, периодически треща мотоциклами и освещая фарами брезент палатки. Он зримо представлял себе смеющееся игривое лицо Вики, и острое злое чувство разгоралось в нем, как пламя костра за стенкой. Его так и подмывало рывкнуть, разогнать всех к чертям. Но он вспоминал одно из правил великого знатока людей («*всегда избегайте острых углов*») и сдерживался. А может, опасался окончательно разрушить иллюзию беспечного веселого сезона.

В лагере теперь постоянно царил бедлам, почти никто ничего не готовил, питались по большей части консервами и тем, что покупали в магазине. Хотя винить Виктору было некого: он сам попустительствовал этому хаосу, отрекшись от обязанностей руководителя. Ему вспомнилось, как они с Кульком чуть не улетели на мотоцикле в речку. Тогда он потерял управление. Сейчас то же самое. Впрочем, не совсем: как можно потерять то, чего и не было?

Их отношения с Викой стали какими-то невнятными. Он думал о ней в маршруте, ждал, лежа в пустой палатке, однако она к нему не то-

ропилась, лишь доносился от костра ее беззаботный, словно дразнящий смех.

Пора было признать: его женщину уводят, с каждым днем она от него все дальше. Что делать? Как в такой ситуации поступить, как удерживать ее? Отрубить? Учинить скандал? Он перелистывал авторитетную книжицу и убеждался в обратном: если не хочешь потерять любимого человека, избегай упреков, придировок; не ревнуй, даже если женщина получает знаки внимания от других мужчин. В общем-то, так он и делал. То есть не делал ничего.

Были в книжке и рекомендации, как справиться с унынием и тревогой. *«Думайте и ведите себя жизнерадостно, и вы почувствуете себя жизнерадостным»*. Виктор старался — держался так, будто все по-прежнему замечательно, демонстрировал оптимизм, но в действительности чувствовал себя как тогда в горелом лесу, в дебрях иван-чая, когда не знаешь, куда идти и есть ли вообще шанс выбраться.

Насмешка судьбы: он больше всех стремился, чтобы сезон прошел легко и весело, а в итоге весело всем, кроме него.

9.

Редкий случай: все ушли в маршрут (все — это Леха с Викой, Федька же отправился с удочкой вверх по реке). Виктор остался в лагере один, намереваясь поработать с картой и разрезами.

День выдался жарким. Он поднимался по уклону берега после освежающей «ванны», когда к лагерю подкатил обшарпанный мотоцикл «Урал» с коляской. На нем сидело три человека. Это были уже не пацаны, а парни примерно одного с Виктором возраста, если не старше.

— Ты один? Как звать? Виктор? Слушай, Витюха, найди нам какую-нибудь банку консервов. У нас, сам видишь, только хлеб да лук. — Говоря это, один из приехавших, толстомордый, с выпуклыми бараньими глазами, выкладывал на траву у плоского холмика бутылки с водкой.

— Тыквин, — представился он, — Валерка. Тут у вас мой братишка тусуется, Васька, знаешь, наверное.

— Да, знаю, — зачем-то соврал Виктор. (Да разве всех тусующихся здесь упомнишь? На это только Вика способна.)

Двое других устраивались поудобнее, ерзая задками в джинсах по травянистому боку бугра. Знакомиться они не торопились.

— Этого звать Олег, Дубов, — взялся представлять дружков речистый Валерка. — А это Стас, Сизый.

— Да, да, ты Сизый? — с интересом взглянул Виктор на широколицего и большеботого, почему-то совсем не загорелого парня в шрамах и с действительно сизыми короткими волосами.

— Что, слышал обо мне? — самодовольно блеснул тот маленькими голубыми глазками, но улыбку сдержал.



Наверняка он гордится тем, что на всех в поселке наводит страх, подумал Виктор, и что молодежь глядит на него с подобострастием. «*Чувство собственной значительности*», как определяет это Карнеги.

— Да так, краем уха, — уклончиво ответил он.

— Давай, геолог, выпей с нами, — протянул наполовину наполненный стакан все тот же Тыквин.

Сизый одобрительно качнул сизой головой.

— Мне сегодня еще работать надо — разрезы вычерчивать, — попытался увильнуть Виктор.

— Запахло? — недобро глянул на него молчавший до сих пор Дубов, самый рослый из троих, с туманным, отсутствующим взглядом.

Пришлось взять.

— Ну... тогда за знакомство.

— Давай. — Парни дружно выпили.

— Что, плюху поймал? — хмыкнул Тыквин, кивнув подбородком Виктору. — Что нос-то кривой?

— Да так... было дело, — поморщился геолог.

Из приличия он немного посидел с пришельцами, невольно прислушиваясь к разговорам. Разговоры, как и у пацанов, сводились к воспоминаниям, когда, где и кому дали по морде.

— Помнишь, армейцев херачили? — хищно ухмылялся Сизый большим акульим ртом. — Их, понимаешь, человек десять в один срок дембельнулось, шкетов, — пояснил он Виктору. — Что нам теперь Сизый, говорят, не знаем мы такого. Пришлось маленько поучить. Да, Олег? Помнишь? На танцах. Мы на выходе встали. Они по очереди выскакивают, а тут — дыж-ж-жь! Другой — дыж-ж-жь! Дальше уже ползли. Двое на мотоцикле подъехали, еще ничего не знают, а им сразу — бах!

— Я их обоих свалил, — похвастался Валерка.

— Олег одному ногой на харю наступил.

— Ему самому тоже досталось, — прибавил Валерка.

— Немного, — потрогал у глаза Дубов, как будто ему дали минут пять назад.

Вспомнили еще, как подпоили чью-то жену и пустили по кругу, а супруг узнал и теперь «тянет на Сизого статью». Так его тоже били: «нехер ментов замешивать, сам разбирайся».

Сизый, разгорячившись, с раскрасневшейся физиономией и искривленным ртом, стоял теперь на холмике, точно на сцене, и иллюстрировал свои рассказы, впечатывая кулак в ладонь левой руки.

— Слышь, Витюха, а что тут у вас за девка такая? — повернулся к геологу Тыквин. — Все пацаны на ней свихнулись. Мы приехали знакомиться. — И он развязно загоготал. — Понимаешь, у нас так заведено: как новая телка появляется — надо опробовать.

— Вообще-то она со мной, — с неожиданной для себя решимостью произнес Виктор. — Можно даже сказать: невеста.

Все трое, уже заметно охмелевшие, разом уставились на него.

— Ты нам что, по мозгам решил проехаться? — угрожающе прохрипел Сизый.

— Она же, мы слышали, сейчас с Маньяком крутит. Или как? — набычился и Тыквин.

— Ни с кем она не крутит. Катают они ее, и что с того?

— А ты что же? — надвинулся на Виктора, как бы требуя отчета, Сизый.

— Я ей не господин.

— Ты что?! — Снова все трое вытаращились на геолога как на диковину. — У тебя бабу отбивают, а ты сидишь тут как...

— Нет, у нас так не делается, — покачал головой Сизый. — Бабе много воли давать нельзя. Иной раз и по зубам полезно въехать. А Маньяку этому... Ты мужик или кто?! Он же у тебя бабу уводит! Если ты мужик, ты ему рога должен обломать!

— Я подумаю над этим, — бросил Виктор и направился в палатку.

«Тоже мне указчики! Лезут со своими дикарскими понятиями, — негодовал он про себя. И еще вспомнил местное выражение: — Колеса не помыли, а наезжают!»

Он сидел над картой, когда палатка вдруг затряслась и внутрь ввалился Олег Дубов, голый по пояс и с разбитой в кровь физиономией. Он рухнул плашмя, разбросав ноги в запачканных грязью джинсах, и лежал, шумно дыша и всхлипывая. Виктор стоял над ним, не зная, что предпринять. А между тем, судя по судорожным толчкам выпуклого волосатого живота, намечалось извержение. Уже вырывались предварительные водочно-луковые эксгалляции.

— Слушай, только не здесь, мы тут живем, — сказал ему Виктор.

На него уставился глаз, тупо решающий: прямо сейчас дать этому зануде в рожу или чуть погодя? К счастью, через минуту-другую пьяный сам выполз наружу.

Выждав какое-то время, Виктор тоже вышел. Тыквин и Сизый сидели теперь у кострища. Дубов, в соплях и слезах (этакий мускулистый детина!), мелко подрагивая и сопя, стоял, сжав кулаки, за спиной невозмутимо сидящего на травке Сизого. Судя по всему, от главара он и получил по мордасам. Наконец тот повернулся и почти ласково промолвил:

— Дурачок, ну что ты? Ну? Успокойся.

— Пусть умоется, — приподнял опущенную на грудь голову Валерка Тыквин.

— Что?! Тебе что надо?! — еще яростнее напряг кулаки Олег.

— Помолчи. Мало тебе дали? — снова вскинул голову Тыквин.

— Валера, не заводись, — предупредил Сизый Тыквина.

И тут (Виктор чуть не рассмеялся) Дубов грозно надвинулся на вожака:

— Ты что Валерку трогаешь? Не трожь Валерку! Не трожь! Лучше меня ударь... — закончил он уже не сурово, а жалобно всхлипывая.

— Я ударю — сам знаешь, мало не будет.

— Ударь! — Олег встал перед Стасом с разведенными в стороны кулаками — прямо-таки герой-боец перед гитлеровским «тигром», гранат только в руках не доставало.

Тресь! — и боец улетел в бурьян, да так и остался там распластанный.

— Витюха, посмотри, чтобы он кровью не захлебнулся, — выразил заботу Сизый.

«Еще чего, — подумал Виктор. — Может, вас и по домам разве-сти?» Разводить не пришлось: опустошив последнюю бутылку, приятели потащили за руки полуживого Дубова к мотоциклу и принялись запики-вать в коляску.

Какая тупая животная у них тут жизнь, ужаснулся Виктор: выпили, побили друг другу морды — вот и все развлечения... Затарактел мотор, и тройца зигзагами покатила по грунтовке к поселку. В коляске из стороны в сторону болталась окровавленная голова Дубова.

А вскоре на дороге показался Леха.

— Почему один? — хмуро спросил Виктор, когда инженер подошел к палаткам.

— Моего техника по дороге похитили, — доложил бывший профорг, отдуваясь от вечерней мошки.

— Кто?

— Маньяк.

Виктору показалось, что он сейчас задохнется.

10.

После посещения лагеря поселковыми авторитетами Виктор почувствовал, что даже показное спокойствие ему уже не под силу. Он едва сдерживался, чтобы не удариться в другую крайность — ввести железную дисциплину, диктатуру маленького начальника над маленьким отрядом. Порядок бы наверняка установился. Вот только Вику таким способом едва ли вернешь.

Потом пришла на ум более благоразумная идея — уйти в много-дневный маршрут. «Человек, страдающий от беспокойства, должен полностью забыться в работе», — уверял Карнеги. А Виктор мучился беспокойством как никогда. Да, это хороший ход, решил он. Таким путем он и сам отвлечется, и Вика, возможно, соскучится по нему.

Его отвез по заглохшим лесным дорогам в дальний угол изучаемой площади Костя Мелкий. Перед тем как уехать, он присел на трухлявом стволе покурить.

— Ходите, камни таскаете, а никакого толку, — поддразнил он Виктора. — Раньше тут геологов бывало — больше, чем собак в поселке, и что? Какая от вас польза?

— Зато от вас польза огромная, — хмуро усмехнулся геолог. — Только и делаете, что сами свою тайгу изводите. — Он знал, что Костя работает в лесхозе.

— Изводим?! Это мы изводим?! Да без нас... — подскочил тот, вмиг распалившись. — Что бы ты без нас? Без древесины?.. На чем бы ты сидел? На камнях своих? Стол, шифоньер тебе нужен?

— К черту шифоньер! Слушай сюда! — неожиданно для себя схватил его за грудки Виктор. — Хоть один из вас с Викою спал? Отвечай!

Парень, не ожидавший такого резкого поворота, забормотал растерянно:

— Я не знаю... Были разговоры... Костя Большой клинья подбивает... И Маньяк. А еще Сизый собирался...

— Я им подобью! Передай им... Хотя ладно, не надо. Ничего не передавай. Я сам с ними поговорю.

Глупость! Какая глупость! Что толку с ними говорить?! В первую очередь надо разбираться с женщиной, Сизый прав. Виктор остался недоволен, что выдал себя, свою ревность. Унизился перед пацаном. Тьфу!

Через четыре дня, уставший, с грузом камней за спиной и с еще большим грузом на душе, он возвращался в лагерь. И в какой-то момент почувствовал, что идти туда ему абсолютно не хочется. Ну не хочется идти! Остаться бы в глуши и никогда больше не видеть людей, жить с деревьями, травой, речкой...

У крайних домов поселка ему попался на пути отец Кости Большого, с которым они были немного знакомы.

— Что же вы так? — остановился тот, укоризненно качая седой головой. — Мы вас принимаем как людей, а вы что же?

— А в чем дело? — непонимающе воззрился на него Виктор.

— Как же? Костю вот побили у вас...

— Как это побили? Кто побил?! — опешил Виктор.

— Теперь что говорить, что да как. Плохо, что вы до этого допустили. И вообще, хоть обижайся, Витя, только скажу тебе прямо: если так дальше пойдет — все эти тусовки, мотоциклы — мы вас из поселка погоним. Уже многие недовольны, соседям вашим спать не даете: до половины ночи у вас шум, гитара, моторы режут... Вы сюда зачем приехали — работать?

«Зачем мы приехали — это вас не касается», — приготовился дать отпор Виктор, но остановил себя, вспомнив мудрые наставления психолога:

— Вы совершенно правы, Анатолий Степанович. Поверьте, нам самим эти сборища надоели.

— Да и гони всех к едреней матери! — нахохлил брови мужик. — Ты начальник или кто? Вот и марш всех за территорию лагеря! Вам же надо отдыхать, если вы работаете... А то когда вам отдыхать, если вы до полуночи у костра дуркуете? До чего дошло — водку у вас распивают, драку затеяли... Вот ведь что получается. Или вы прекращаете это, или мы соберемся и отволокем ваши палатки за пять километров от поселка!

— Я бы на вашем месте так и поступил, — почти искренне заверил собеседника Виктор.

— Ну, надеюсь, до этого не дойдет, — уже более мирно проговорил тот. — Но ты обязан разобраться, коль уж ты начальник. Тебе людей доверили, ты за них отвечаешь. Я не прав?

— Вы всё правильно говорите, Анатолий Степанович. Я сделаю как надо.

В лагерь Виктор вошел не тем человеком, каким покидал его. «А как же Карнеги? — мелькнуло у него в голове, однако он тотчас отмел это последнее сомнение: — К черту Карнеги!» Краем сознания отметил, что Вика даже не поднялась от костра ему навстречу, хотя и метнула в его сторону быстрый настороженный взгляд. «Вот тебе и соскучилась!»

— Что за мордобой вы тут устроили? — спросил он казенным тоном.

— Ты уже знаешь? Кто тебе сказал? — живо принялись расспрашивать Леха с Викой, осознанно или нет переводя внимание на кого-то стороннего.

— Малолетки перепились, и кто-то кому-то сунул, — точно веселенький анекдотец, взялась рассказывать Вика. — Ничего серьезного.

— Первому Саньке сунули, — вставил Гоха.

— Ему Маньяк сунул. Маньяк всем совал. Не хочу, говорит, а надо, и — бах!

— В общем, так, — прервал Виктор эти захватывающие воспоминания. — Я этим рокерам скажу, и вы передайте кого увидите: больше сборищ не будет. Точка. — Затем он повернулся к Гохе. — За оставшееся время сезона, Алексей Евлампиевич, ты должен сделать тридцать пять маршрутов. Если нет — я не стану докладывать в дирекцию, как некоторые, я просто оглашу цифры — сколько маршрутов и километров ты прошел, сколько тобой отобрано проб — но не где-нибудь, а на твоей предзащите.

Это был ощутимый удар. Леха сопел, опустив на грудь бородавку.

Досталось и Вике:

— Ты — женщина, вроде как хозяйка в нашем лагере, а порядка нет: продукты валяются где попало, картошка гниет, кастрюли по нескольку дней стоят невытые!

Столь решительно отчитывая девушку, он тем не менее избегал смотреть ей в глаза, как если бы тоже был в чем-то перед ней виноват.

Федька пропадал допоздна на рыбалке, а когда вернулся, Виктор подошел к нему:

— Мне кажется, тебе здесь уже порядком надоело, дружище. Думаю, ты с удовольствием мотанул бы домой. Ведь так? Заработную плату за полный сезон и денег на дорогу я выдам — доберешься, надеюсь.

— Что на тебя нашло? — удивился сокурсник. — Это на тебя твой Карнеги так херово действует.

Приятель стоял рядом, но в восприятии Виктора он был уже далеко, за многие километры от него.

С отъездом Федора лагерь охранять перестали. Ящик с документами и деньгами Виктор отнес, заранее договорившись, в дом Анатолия

Степановича. Палатки и спальные мешки если и украдут, то через знакомых нетрудно будет выяснить — кто. Ну а камни никому не нужны.

Леха с Викой теперь спозаранку отправлялись в маршрут. Евлампиевич взялся за работу всерьез — приносил горы камней, сам планировал маршруты. При этом давление у него ни разу больше не поднималось. По вечерам они обсуждали будущую статью.

Мотоциклистов Виктор стал без церемоний выпроваживать.

— Опять консилиум! — выходил он из палатки, как только слышал рокот двух-трех мотоциклов.

— Сейчас уедем, — обещали парни и действительно уезжали.

Но... с ними подчас уезжала и Вика.

Что же окончательно убило Виктора — это новое появление в лагере Сизого. Приехал он один и не на старом «Урале» с коляской, а на новеньком черном мотоцикле, видимо, загодя вымытом, горделиво поблескивающим в закатных лучах солнца. Похоже, с Викторой они были уже знакомы. Гость присел рядом с ней у костра. Вел он себя не так, как тогда, с Тыквиным и Дубовым: улыбался, похихикивал, говорил явно не о драках. Виктора в упор не замечал.

Когда же Вика удалилась зачем-то в палатку, Виктор, сдерживая нервную дрожь, подошел к королю поселка.

— Слушай... (Стас удивленно поднял голову.) Ты мне что говорил? Обломай рога тому, кто отбивает твою женщину. А сам ты для чего сюда явился? Я понимаю: ты в поселке самый крутой, но у тебя что, баб мало?

Короткопалые кисти рук Сизого сложились в объемные кулаки.

— Тебе что, геолог, сломать? — блеснули на Виктора холодные льдинки глаз. — Руку? Или, может, нос подправить на другую сторону? Выбирай. — И он медленно стал подниматься.

Но тут его ледяные глазки вдруг игриво заблестали и даже как будто потептели. Это из палатки вынырнула Вика. Расплывшись в улыбке, Стас потопал ей навстречу. Виктор для него снова перестал существовать. А еще через какое-то время Вика уже сидела за широкой спиной Сизого на его черном мотоцикле, с треском уносящем ее невесть куда.

— Не хотел тебе говорить, чтобы не расстраивать, — поведал Виктору перед своим отъездом Федька. — Главная драка была за нашу девушку. Костя Большой дрался с Маньяком. Маньяк его побил. А Маньяка побил Лось. А потом нагрнул этот... Сизый. И всех к ногтю. Лось попытался дернуться, так он его одним ударом...

Что ж, понятно, почему она теперь со Стасом, подумал Виктор. Женщины, как известно, выбирают победителя.

11.

Думал ли он когда-нибудь, что эта двадцатилетняя девчонка, которую он знает всего-то... четыре, кажется, месяца и без которой спокойно обходился всю предшествующую жизнь, что эта вертихвостка заставит его так мучиться?



К черту, говорил он себе. Плюнуть и забыть! Это даже хорошо, что появились эти рокеры — два Кости, Маньяк, Лось, Сизый. Так бы он и не знал, что она из себя представляет, эта изменница. Кажется, и шеф на это намекал.

Врешь, говорил он себе через минуту, просто тебе обидно, что она предпочла другого. Изменница? Только можно ли назвать изменой то, что из орды почитателей она выбрала одного? И что этот один — не он, Виктор? Почему он самоуверенно решил, что она сошлась с ним навсегда? Они не давали друг другу никаких обещаний. Ну, общались, были близки... А теперь не близки. И не заметно, чтобы она убивалась по этому поводу. Для нее это все несерьезно, все игра. Почему же тогда он так изводит себя?

И как быть? Что посоветовал бы в такой ситуации старина Дейл? «Смирись с потерей, — сказал бы он, — прими ее, а затем попытайся хоть что-то спасти». Вопрос: как с этим смириться и что тут еще можно спасти?

В этот раз он твердо решил поговорить с ней. Он ждал ее, лежа в спальнике, и это ожидание было для него как раскаленное железо, приложенное к животу. Однако он лежал и ждал. Лагерь, притихшая речка, замершие сосны тоже, казалось, ждут вместе с ним — час, другой...

Вот где-то в отдалении, в глухой тиши ночи зародился и постепенно нарастал стрекот мотора. Затем какое-то время, также в отдалении, мотор трещал на одной ноте — на холостом ходу, после чего звук стал удаляться, но еще долго тоненько звенел, точно напряженная нить, незримо соединяющая Виктора и его соперника. Минут через пять — десять Виктор слышал осторожные и как будто виноватые шаги, шорох. Блеклый свет ночи проник в палатку через раздвинутые края входа. Он притворился спящим. Идея поговорить с Викой показалась ему сейчас бессмысленной. О чем говорить? О том, что этот дуб мореный не достоин ее? Что она ведет себя распутно? Это было бы наивно. И противно.

И он лежал не шевелясь, сдерживая рвущееся из груди дыхание. Рядом — шуршание одежды, шуршание спальника и едва слышный вздох. Ему хотелось задушить ее.

В наступившей тишине отчетливо стал слышен лепет речушки и далекий слабый стон — то ли раненого зверя, то ли какой-то неведомой одинокой птицы.

Они лежали в двух шагах друг от друга, а между ними словно пролегли непроходимые джунгли иван-чая и сожженного леса.

Непрощенные наползали из темноты воспоминания — отрывочные, как будто случайные, но обязательно связанные с Викой — не с этой чужой Викой, что находилась сейчас в одной с ним палатке, а с той далекой милой Викой, с которой они болтали в фондах и в институтском буфете. Вспоминался ее игривый, будто зовущий из своей глубины взгляд сквозь упавшие на лицо пряди волос. Взгляд, который казался ему всего лишь проявлением кокетства, а сейчас он видел в том взгляде столько женской

нежности и... возможно, даже зарождающейся любви. Хотя, похоже, так и не зародившейся. А с его стороны? Не то же ли самое и с его чувствами к ней? Кажется, что-то намечалось, обещалось, вот-вот готово было расцвести... нечто большее, такое, что изменило бы всю его жизнь, наполнило ее величайшим счастьем... но не расцвело, не успело...

Утром, стараясь не глядеть на безмятежно спящую девушку, Виктор скомкал свой спальный мешок и перенес его в палатку Гохи. И подивился, почему не сделал этого раньше.

В маршрут он отправился, не дожидаясь, когда остальные проснутся, без завтрака. Но прежде чем двинуться в горы, завернул в поселок. И несколько раз обошел его пыльные улицы и дощатые тротуары, пока не наткнулся на одного из рокеров — Костю Большого.

— У меня к тебе просьба, — проговорил он мрачно. — Ты вот что... Ты Сизого сегодня увидишь? Скажи ему... Короче, скажи ему, что я буду с ним драться. Сегодня вечером. Пусть приходит к мосту.

Парень онемело уставился на геолога.

— Ты че? — промычал он наконец. — Свихнулся? Да он тебя... — Он внимательно посмотрел на Виктора и, видимо, прочел у того в глазах нечто такое, что убедило его в бесполезности каких-либо доводов. — Ладно, — кивнул он, — передам.

Он как будто собирался еще что-то прибавить (возможно, посоветовать Виктору заказать гроб), но лишь хмыкнул через ноздри и пошел своей дорогой.

12.

День выдался хмурый и тусклый, первый пасмурный день за прошедший месяц. Сердитые порывы ветра предвещали дождь.

Маршрут проходил как во сне. При всем старании Виктор никак не мог сосредоточиться на работе. Все мысли его были обращены к сегодняшнему вечеру, к предстоящему поединку. Не спорил ли он глупость? Этот громила, этот закаленный в драках безжалостный Стас просто изувечит его. И добьет морально, поколотив на глазах у подчиненных, на глазах у Вики. Карнеги поставил бы Виктору двойку за такой неразумный шаг. Он проповедовал как раз обратное: *«Никогда не пытайтесь вести счеты с вашими противниками»*.

Драться за женщину? Это же дикость! Первобытные века! И с кем драться? С главарем мотоциклетной ватаги, с профессиональным драчуном, отморозком...

Нынче, в эпоху компьютеров, сложнейших технологий, интеллекта, женщина, как известно, выбирает партнера не по физическим данным, а по образованности, успешности, положению в обществе или хотя бы по тому, насколько он современен. И что же теперь — все это отринуть и меряться тупой силой, расквашивать друг другу носы? И кто успешнее исколошматит соперника — тому приз?!

Впрочем, где-то он читал, что этот древний инстинкт — вручать себя сильнейшему физически — невероятно живуч и женщина нередко следует ему, даже не отдавая себе отчета. Не надо далеко ходить за примером: когда подрались за Вику эти поселковые джигиты, кого из них она выбрала? Она выбрала победителя, Стаса.

Но в таком случае если в предстоящем бою вдруг победит он, Виктор, то вполне вероятно, что и женщина останется с ним, а не с Сизым. Возможно, это единственный шанс вернуть ее. Шанс крохотный и тем не менее реальный, учитывая, что в студенчестве Виктор занимался в секции бокса. Сейчас он, правда, пожалел, что занимался не слишком усердно, иногда даже прогуливал занятия. И все же...

Пожалуй, не такая уж это и дикость. Ведь за женщин мужчины всегда сражались и продолжают сражаться. Состязаться можно по-разному: в эрудиции, в поэтическом даре, в материальном достатке, наконец. Сейчас же тот случай, когда надо просто драться.

А как он хотел? Все в этой жизни получать на халяву? Поднабрался психологических хитростей, задурил кому надо голову и получил желаемое? Ведь Вика, если уж честно, досталась ему на халяву, без особых усилий и жертв. А вот теперь попробуй завоевать ее! Пусть даже таким дикарским способом.

Хотя... стоит ли она того, чтобы за нее биться, мелькнуло у него сомнение. Но он тотчас же прогнал его прочь.

Недалеко от палаток на относительно ровном месте разметили площадку — поставили по углам четыре мотоцикла. Сизый прибыл в неизменном сопровождении своих подпевал Дубова и Тыквина и в окружении толпы болельщиков. Виктор никак не предполагал такого количества зрителей. Это было неприятно.

— Бьетесь на кулаках, без ног, — предупредил его Тыквин и прибавил со смешком: — Не сдохни.

— Ну что, геолог? Не передумал? — прищурился на Виктора Стас. — Сейчас я еще готов тебя простить. А через минуту — уже нет.

— А вот я не готов простить — ни сейчас, ни через минуту.

— Ну, тогда тебе кирдык.

— Посмотрим.

Вика пыталась противодействовать затее — гневно сверкая глазами, требовала «прекратить этот цирк».

— Стас! — вплотную подскочила она и заглянула в лицо своему ухажеру.

Тот хладнокровно отодвинул ее в сторонку.

— Виктор, ну ты-то должен соображать!

Соображать было поздно. Болельщики уже расселись на травке и требовали начинать.

Среди множества лиц Виктор мельком опознал Костю Большого и Мелкого, Маньяка и даже веснушчатого Володьку, который с дружкой



приплывал на лодке в день их приезда. Чуть в стороне маячили Лешка и Вика, не смешиваясь на этот раз с местными. В глазах Вики, как показалось Виктору, он уловил сомнение. Сомнение в его победе. Сомнение и жалость.

— Стас, дай сперва фору! — выкрикнул кто-то. — Сразу не вырубай.

Противники, обнаженные по пояс, стояли друг против друга. Сизый, с широким торсом, рельефными, точно отлитыми из белой резины мышцами, выглядел еще внушительнее, чем обычно.

Все-таки это возвращение к пещерам, подумалось Виктору. Монголо-татарская орда. Бубнов не хватает. В эти минуты они все: и он со Стасом, и Вика, и кровожадная толпа вокруг — скатились на несколько пролетов вниз по лестнице человеческой цивилизации. Зримо вспомнилась мрачная картина (кажется, немца фон Штука) «Битва за женщину»: два звероподобных существа, готовых растерзать друг друга, и рядом — подбоченившаяся женская фигура. Вот точное отображение сегодняшнего поединка.

Хотя... существовали же дуэли всего век назад. Сейчас у них тоже, по сути, дуэль. Впрочем, нет, не дуэль. Дуэли устраивали, защищая свою честь или честь женщины. У них же более примитивный вариант — за обладание этой женщиной. Или не так? Или все-таки честь?.. Все, поздно о чем-либо думать, надо драться!

Сизый кривил рот в пренебрежительной улыбочке, которая теперь казалась Виктору особенно оскорбительной. Что ж, посмотрим, будешь ли ты улыбаться через какое-то время.

Виктор сознавал свои преимущества: владение кое-какими навыками грамотного боя, неплохое умение уходить, уклоняться от ударов. У Стаса, конечно же, козыри куда существеннее. Это и природная сибирская силища, и его самоуверенность, как короля поселковой молодежи, и поддержка болельщиков, но главное — практика. Практика не спортивных состязаний, а жестоких уличных побоищ. Это огромный плюс. Хотя и не решающий. У Виктора такой практики, безусловно, меньше, правда, однажды он участвовал в драке с деревенскими парнями в вологодской глубинке и знал их слабую сторону: они прут буром, молотят кулаками (и если попадут, то могут и покалечить), зато почти не думают о собственной защите — об уклонах, нырках, отскоках, поворотах. Они просто не знают об этих вещах. К тому же в пылу драки, в ярости плохо соображают («поздно зажигание срабатывает»).

Значит, первое, что надо сделать — это хорошенько разозлить соперника, так разозлить, чтобы гнев ослепил его хоть на секунду...

— Кончай му-му! — раздавались нетерпеливые возгласы. — Стас, давай! Влами ему! Си-зый! Си-зый!

Противники ходили по дуге, обмениваясь пробными ударами, почти не достигающими цели. Один раз, правда, Сизый попал Виктору в плечо, отчего вся рука его на время онемела.

Болельщики выкрикивали что-то насмешливое, но Виктор уже не вникал в смысл слов. Он весь был сосредоточен на движениях и лице не-

приятеля. Да и лицо это было уже не лицом, а круглым бледным пятном, мишенью.

Вот соперник пригнул стриженую бычью голову и с шагом, короткодохнув, бросил вперед правую руку. Неуловимо, по крайней мере для зрителей, Виктор качнулся в сторону, и напряженный кулак беззвучно пронзил пустоту. Еще одна попытка окончилась тем же. Стас заметно начал сердиться. Он наступал все решительнее, и махи его рук становились все злее и опаснее.

Дольше тянуть было нельзя.

В какой-то момент Виктор отвлек врага левой, обманчиво целясь в живот, и тотчас же с наскока хлестнул его правой в нос. И мгновенно отскочил. Вокруг загудели. Струйка крови побежала из ноздри детины. Рот стал красным и от этого жутким, действительно акульим. Рот раскрылся от удивления. Но еще больше — от гнева. Не гнева даже — бешенства. Маленькие глазки подернулись туманом. Этого-то Виктор и добивался.

Ну, теперь либо пан, либо пропал, успел подумать он. И в миг, когда в него со скоростью снаряда полетел железный кулак, кулак, посланный звериной силой, злостью, ревностью, всей мощью былых поколений сибиряков, — в этот страшный миг он и сделал коронный выпад: чуть крутнувшись на левой ноге, отклонившись на четверть оборота назад и в сторону, пропустил эту дурную силищу мимо, вхолостую. Однако при этом не пропустил летящую вслед за кулаком голову — впечатал в нее короткий, но жесткий удар. И, кажется, попал в скулу. Голова даже запрокинулась на секунду. А руку Виктора словно обдало пламенем.

Сизый стоял, покачиваясь вперед и назад. Сизый «поплыл».

— Э-э-э, — простонала толпа. — Ы-ы-ы!

Стоячий нокдаун. На ринге бой приостановили бы и, возможно, досчитав до десяти, присудили бы Виктору чистую победу. Вот что значит грамотная стратегия! Виктор опустил руки. Он глубоко и облегченно дышал.

И это была оплошность: он рано расслабился и не закрепил успех еще хотя бы одним ударом. Он не учел того, что перед ним не рядовой противник, наподобие его самого. Перед ним было детище природы с неведомым горожанам запасом прочности.

Виктор увидел только, как бессмысленные мутные глаза соперника вдруг сделались опять прозрачными, ясно-голубыми, внутри них как будто вспыхнул ледяной огонь. Боец двинулся на него, точно бык на тореадора. Дальше произошло неопишное. Лавина непрерывных ударов обрушилась на ошеломленного геолога. Таких продолжительных серий ударов не удавалось проделать никому, с кем ему доводилось тренироваться. Об ответах нечего было и помышлять. Виктор едва успевал кое-как закрываться, отскакивать, даже отбегать, действуя уже автоматически. Хотя и это не очень-то помогало. Несколько раз он чуть не упал просто от силы толчков — бессмысленных, слепых, подобных толчку автомобиля — в плечо, в руку, в грудь. Он даже ощущал порой ветерок, сопровождающий пролетающие рядом с его головой кулаки.

— Си-зы-ый! — визжала ликующая толпа. — Вали его, Сизый! Круши его!

Хана, подумалось Виктору. Вот сейчас попадет по-настоящему — и хана...

И тут перед ним мелькнуло лицо Вики — въяве или в воображении, он не успел понять. Зато успел увидеть ее глаза, а в этих глазах — сомнение и жалость. И эти сомнение и жалость произвели в нем подобие взрыва. Ах, вы все в меня не верите?! Вы поставили на мне крест?!

Чуть присев и при этом ни на миг не спуская с противника глаз, Виктор пружинистым зверем ринулся вперед, навстречу чудовищному вихрю, и, отбив встречный кулак левой, правой снизу попал точно в подбородок (классический апперкот). Ему показалось, будто что-то хрустнуло — то ли костяшки его пальцев, то ли это клацнули зубы Стаса. И тотчас же вихрь стих. Стихло все, словно внезапно остановили какой-то сумасшедший фильм.

...Сизый лежал перед ним, прильнув щекой к притоптанной траве, с оттянутым вверх веком, из-под которого виднелся глаз — открытый, но незрячий.

Зрители безмолвствовали, будто тоже нокаутированные.

— Ни фиги себе, — прозвучал в этом смятении безмолвия чей-то мальчишески звонкий голос.

И сразу же вся поляна загомонила, забурлила, зарокотала на разные голоса. Затопали десятки ног. Лежащего повернули на спину, усадили, пошлепали по щекам (шлепал, кажется, Тыквин). Король поселка промычал что-то невнятное, затем со всхлипом вздохнул и вылупил на Виктора стекляшки глаз. Его окровавленные губы кривились в неуместной идиотической улыбочке. Стаса взяли под руки и повели на заплетающихся ногах к мотоциклам.

13.

Вокруг что-то кричали, кажется, кричала и она.

Кто-то крепко сжал Виктору плечо, и он увидел рядом с собой большие заплатанные сапоги Лося. Каким-то неизъяснимым образом, безгласно, сапоги выражали ему солидарность.

Взревели двигатели — один, другой, сразу десяток. До Виктора дошел запах отработанного бензина. Шум толпы накатывал словно шторм. Но когда Виктор поднял голову и огляделся (оказалось, он сидит обессиленно на земле), на площадке и вокруг было пустынно. Лишь множественные следы колес, исполосовавшие поляну, свидетельствовали о недавнем скоплении людей. Шумело же у него в ушах, и голова клонилась, как у пьяницы.

А еще была Вика, опустившаяся перед ним на корточки. Все как в сказке: он победил дракона, и вот его ждет награда — принцесса и полцарства в придачу.

— Стас совсем голову потерял, псих, — проговорила «принцесса» своим грудным, чуть хрипловатым голосом. — Вот и получил...

Виктор подвигал онемелой челюстью. Во рту было неуклюже и солоно-вязко. И какой-то камешек... Нет, осколок зуба. Значит, удары при-
шлись не только в плечи и грудь. Он сплюнул — тягучая кровавая слюна повисла на штанах. Он хотел смахнуть ее и увидел кисть правой руки — лиловую, распухшую и лоснящуюся, точно баклажан.

— Витя, что с твоей рукой? — Девушка осторожно коснулась опухоли: — Тебе больно? — Она поднялась на ноги (загорелые, изящно очерченные ноги наездницы). — погоди, я сейчас... — И вот уже точеная смуглая рука протянула ему ковш прозрачной речной воды: — Умойся. И попей.

Виктор вылил воду на травмированную горящую руку.

— Пойдем в палатку, Вить, — заглянула она ему в глаза. — Я полечу тебя, сделаю компресс. Я все сделаю.

— Компрессы и примочки — это по Гохиной части, — промывал Виктор.

— Что ты сердисься? — отозвался стоящий неподалеку Леха. — Мы за тебя болели, а ты сердисься. Я Вике сразу говорил, что ты победишь, а она не верила.

— Ты говорил, что Витя победит, если только Сизый зазевается. А вот я верила. Я просто боялась за Витю, боялась, что Стас его покалечит. Он же такой... здоровенный бугай.

— Как видишь, не всегда побеждают бугаи, — проговорил Виктор. — Леха, будь добр, сделай чай, — повернулся он к инженеру.

— Понял! Один момент! — с необычным для него энтузиазмом откликнулся Евлампиевич и поспешил с чайником к речке.

Вика снова присела рядом.

— Вить, — робко произнесла она. — Я виновата перед тобой, прости меня. Но... ведь и ты тоже виноват. Когда меня увозили на мотоцикле... еще в самом начале... ты не реагировал. Я думала: я тебе безразлична, раз ты готов уступить меня любому. А ты и потом вел себя как-то странно. Делал вид, что тебе все равно. И я делала вид... Лучше бы ты побил меня или домой отправил, как Федьку! Или прогнал бы этих всех. Запретил бы мне. Я бы послушалась! А ты... — Она провела ладонью по его волосам. — Но сейчас ты дрался за меня... Это, конечно, нехорошо. Я знаю, что драка — это безобразно. И смотреть на это было неприятно. И все-таки ты дрался *за меня!* — Она глядела на него словно из глубины веков, чуть раскосыми глазами дикой кочевницы. — Значит, я безразлична тебе. Если честно, я поехала сюда не только ради тестов, а еще из-за тебя... Помнишь, ты сказал, что мое место не в подвале фондов, а в небе?

— То была просто красивая фраза.

— Витя, сегодня я поняла: мне не нужен никто, кроме тебя.

— Победитель получает все? — криво усмехнулся Виктор. — Так, что ли, мисс геология? А где тогда полцарства?

— Ты о чем, Вить?

— Долго объяснять.

— Витечка! — Она наклонилась и поцеловала обезображенную кисть его руки.

Виктор отвел руку за спину.

— Нет, — проговорил он сухо.

— Витечка!

— Прости, но нет. Теперь уже нет. Без меня.

Он смотрел на нее спокойно и холодно.

Девушка выпрямилась и какое-то время стояла рядом — как всегда пленительная, грациозная, вот только глаза не искрились. Потом медленно побрела — мимо застывших высоких сосен и темных елей, чем-то несказанно близкая сейчас этим соснам и елям. И Виктор почувствовал, как недавно с Федором, что она уже далеко. За тысячи километров от него.

Поднявшись на ноги, он прошел в отдаленную четырехместную палатку и скоро выбрался из нее с остатками своих вещей: геологическими бумагами в полиэтиленовом пакете, скомканным свитером, футболкой, полотенцем... Когда он подходил к мужской палатке, что-то выпало из этого вороха. Виктор оглянулся, бросил поклажу на землю и поднял здоровой левой рукой небольшую книжицу. Это были знаменитые советы прославленного американского психолога. Геолог в раздумье подержал брошюру в руке. Затем шагнул к разведенному Лехой костру и кинул ее в огонь.

Раскрывшись с готовностью, точно покупная женщина, книжка весело и глупо затрепетала страницами, прежде чем вспыхнуть. Глядя на ее быстро чернеющие, коробящиеся, объятые пламенем листы, Виктор ощутил вдруг необыкновенное облегчение. Как если бы он долго носил чужое, страшно тесное пальто или пиджак — и вот сбросил его!

А еще ему подумалось, что, если бы американец Карнеги побывал здесь, в Сибири, да и вообще в России, он, вероятно, написал бы совсем другую книгу.



Владимир КРЮКОВ

ЛУГОВАЯ СТРАНА

* * *

Плескали в бессонной моей голове
хореи и ямбы,
и шли мы по сочной июньской траве
до глинистой дамбы.
За нею уже начиналась река,
дышала прохлада
и, как полагается, — да, облака
летели как надо.
И звуки, и запахи, и тишина
прекрасного лета
до капельки выпиты были, до дна
и канули в Лету.
Сегодня — как будто еще наяву —
гляжу я подолгу
на воду и берег, на эту траву.
Да толку-то, толку...

* * *

Как растроган, взволнован
я бывал поутру
опереньем кленовым
на летнем ветру.

И, наверно, мечталось,
чтобы так же, спроста,

жизнь опять начиналась
с молодого листа.

В непогожую осень
повстречаю его,
вот он — тот, кто не просит
у судьбы ничего.

Он лежит, пятипалый,
безо всяких обид,
не тоской, не опалой,
а дождями прибит.

* * *

И занавеска, белая от страха,
Во власти смутных полуночных слухов
То хлопала отрывисто и сухо,
То надувалась ветром, как рубаха.

И так всю ночь — и мрак, и дождь, и ветер —
Терзали эту душу без пощады,
И провели кругами всеми ада,
И выпустили только на рассвете.

Измученно обвисла занавеска,
А за окном плывут, не зная бури,
Два облака в языческой лазури,
Два облака — Паоло и Франческа.

* * *

Этот пес у забора поднимет глаза и опустит
И на лапы положит усталую голову так,
Что покажется он обреченным хранителем грусти,
И заплещется в сердце неведомая маета.
Боже мой, не хватало еще и заплакать.
Но и правда, откуда, откуда такая тоска?
И лежит неподвижно, глаза опустивши, собака,
Опасаясь глухую глубинную грусть расплескать.



* * *

Владимиру Костину

Там, на пороге октября,
В лесу полураздетом,
Стоит вечерняя заря,
Горит последним светом.

И я хотел бы сохранить
От мороси противной
Сиротский лес и эту нить
Белесой паутины.

И свет немислимый спасти
С круженьем тонких игл,
Совсем с собою унести,
Как лист упрятать в книгу.

И в непогоду одному
Открыть ее страницы,
И пусть в темнеющем дому
Тот свет распространится.

И в комнате моей пустой,
Где тишина густая,
Я этот год пережитой
Возьму перелистаю.

Там анекдоты с бородой,
Но рядом с ними были
Настил, от инея седой,
Протяжный ветер над водой,
Тепло дорожной пыли.

Светилась в сумраке луной
Пропитанная штора,
Расческой для травы ночной
Ложилась тень забора.

И жизнь желанная текла,
И были как родные
И все небесные тела,
И все тела земные.

* * *

Разные есть у лета цветы:
В поле, в траве, в росе.
Если к ним наклонялась ты,
Были красивы все.
Этот гулкий высокий бор
С благословенных лет
На сто раз поменял убор —
Прежнего его нет.
Мы не любили красивых слов,
Типа там «тра-ла-ла».
Ты, смеясь, говорила: «Любофф».
А это любовь была.

* * *

Помнишь детство, озеро, сиянье,
Редких облаков воздушный облик?
Помнишь: выйдя из воды, рубашкой
Промокнешь лицо свое и сразу,
Сразу одуреешь от восторга —
Запах солнца и еще чего-то,
Что никак назвать не можешь словом.
Столько лет прошло, а все не можешь.
Как досадно! Но твоя досада
Скоро отступает, потому что
Помнятся трава, вода, деревья,
Лето и пропитанная солнцем,
Счастьем напоенная рубаха.

* * *

Спать бы надо, да сон не берет.
Вся округа заходится лаем.
Сна и отдыха знать не желая,
Сотня псов свои глотки дерет.

И ни зги. И все небо в снегу,
Он летит широко, бестолково.
Полюбуюсь с крыльца, право слово,
На роскошную эту пургу.





Ну собаки! У них решено
Всю вселенную нынче облаять...
Так шумела когда-то облава
В старом, польском, как помню, кино.

* * *

Вы уплыли в далекие дали,
вы забыли меня, облака,
не позвали и не подождали,
да и я не собрался пока.

Но во сне я летаю, бесплотен,
мне даны и поля, и холмы,
и дороги с любимых полотен,
и спящая прелесть зимы.

Там оснеженная Галатея
поразвесила тонкую вязь,
что на солнце блестит, золотея,
осьпается, серебрясь.

* * *

В моем бревенчатом дому
трещат поленья,
и хорошо мне одному
предаться лени.

И хорошо мне у печи
внимать заветам:
таи, скрывайся и молчи
о том и этом.

Но я, конечно, не один:
со мною в дружбе
и саксофон, и клавесин,
и мрак снаружи.

Что снова день сошел на нет,
не забываю.
Да, мой отчерпывают свет —
он убывает.

Дрова подкидывая в печь,
я чую кожей,
как время продолжает течь,
застыть не может.

* * *

Люблю появление сороки.
А лучше так двух или трех.
Разыгрывают белобоки
Девический переполох.

Какие изящные птицы!
Гляжу я в окошко на них:
Когда бы перевоплотиться
В одну из чудесниц таких...

Придут неизбежные сроки,
И утром какого-то дня
Красавицы эти сороки
В сородичи примут меня.

* * *

Фотографии в школьном альбоме,
Подростковые игры с вином.
Кто недавно прошел за окном,
Скоро, скоро появится в доме.

Но уже откликаются эхом
Зовы жизни в открытой душе.
— Ты приехал? — Да вроде приехал,
Но куда-то собрался уже.

— Да куда же? — А кто его знает?
Но однажды большая страна —
Луговая, речная, лесная —
Встанет в раму родного окна.

И захочется детского смеха
Невостребованной душе.
— Ты приехал? — Я точно приехал.
И теперь не уеду уже.

Марина АРЖАНИКОВА

СОЛИСТКА

Р а с с к а з

Лилька была похожа на мальчишку. «Пацанка», — говорил Савка, и Лилька не обижалась, но замолкала, задумывалась.

Волосы у нее отросли после малярии (бабушка выходила их вместе с братом), и Лилька уже вставляла в жиденькие косички две истрепанные ленточки. Чуть раскосая, что лицу детскому придавало задор, и очень подвижная (шило в попе, говорила бабушка), худенькая, с вечно разбитыми коленками, Лилька была заводилой: воевала с пацанами, уводила всю обрубскую детвору под мост мальков ловить, а то и на Гору, где собирались взрослые пацаны, обрубские и загорские, повьяснять отношения. Лилька спасала собак от повадившихся ездить по дворам на грязной, с огромным ящиком, телеге страшных рябых мужиков — живодеров, как их называли в народе. Она подкармливала оценившихся сук, таскала домой котят, коробки с которыми стояли по всем углам их небольшой, единственной комнаты в крепком деревянном двухэтажном доме по улице Обрубу. Обруб — он и есть обруб, небольшой, изогнутый, с высоким живописным бархатным берегом и быстрой своенравной речкой, где день-деньской пропадала детвора, а женщины полоскали белье и обсуждали новости.

Лильку любили и взрослые и дети, она была какая-то особенная — иногда по-взрослому рассудительная, нахмурившаяся, иногда трогательная по-детски, когда, прижавшись к бабушке, замолкала, как птичка. Часто можно было видеть, как она, со сбившимся старым бантом на голове, вела за собой ватагу сопливых, чубастых, голодных пацанов; вечерами же, когда темнело, приводила эту ватагу в пекарню, своими тайными ходами-ходильниками, на крышу сарая, внизу которого стояли бочки с патокой, куда они, нависнув друг на друга, просовывали длинную палку через пробитую в бочке дырку. Просовывали тихо, затаившись. На шухере стоял, вернее сидел, Пашка, свесив ноги и ожидая своей очереди. Облизывали палку не спеша. Патока была густая и медленно сползала по

щекам, груди, даже по ногам. Однажды мужчина из пекарни схватил за ногу Сережку, и Сережка бился и кричал, испуганный и липкий.

Порой Лилька грустила, и в такие моменты она просто сидела на крыльце, делала браслеты из одуванчиков, осторожно разъединяя надвое стебель, вспоминала о папке, который, как и у всех, был на фронте, и взгляд у нее становился взрослым и совсем раскосым.

А вообще, жили весело. По вечерам на крыльчке пьяный Савка играл на гармошке, женщины развешивали белье, перебрасываясь словами, и туда-сюда сновала ребятня. Весело было, но голодно. Хлеба было совсем мало, и Лилька с бабушкой ходили на Пороховые поля, выкапывали по третьему разу картошку и, если находили несколько штук, радовались.

— Баб, дай я еще пройду, еще найдем, — говорила Лилька и снова рыла, рыла руками уже отрожавшую землю.

Дома картошку варили, предварительно вырезав глазки для новой посадки, и держать горячую картофелину в ладонях — было маленьким Лилькиным счастьем.

Бывало, бабушка брала Лильку «на отметку»: ночью ходили к мосту. Она стояла в темноте со взрослыми, когда резко выкрикивали номера — как прорезали ночной воздух, тоже откликалась, кричала написанный на руке химическим карандашом номер — завтрашние двести пятьдесят на день.

До войны в обрубской пекарне пекли сайки. Запах от них стоял по всему Обрубу, да и по Загорной, а когда бежала Лилька из школы — и до самой Площади. Теперь же она ложилась на кровать, складывала ручки и начинала вспоминать. Это были самые счастливые минуты в ее жизни! Сайки были горячие, подрумяненные сбоку, с запеченной «оборочкой» из теста. Лилька начинала откусывать сбоку, с краешка, потом бочки — и так до серединки, а оставшуюся середку, круглую, ровненькую, еще обтачивала зубками и потом завертывала в платочек и прятала под платьями в комод. Но так было до войны. Лилька чувствовала вкус и запах саек, заполнивший комнату, облизывала губы и слатывала, и тепло разливалось по всему ее телу.

Случалось, она проделывала эту игру по три-четыре раза в день:

— Баба, я полежу...

— Полежи, полежи, касатая, коли хочешь.

И правда, ей казалось: она ее съела, эту предвоенную сайку.

С учебой у Лильки было все в порядке: она неплохо училась и уроки делала сама — быстро и весело. Иногда у нее шла кровь носом, но это «от мяса», как говорила баба Саша, вернее оттого, что его не было. У Сережки тоже текла, прямо во время игр, на речке или во дворе — тогда они засовывали в нос траву, и кровь останавливалась.

Однако самым любимым занятием у Лильки был ансамбль в Доме пионеров. Она ходила туда два раза в неделю. Мама специально сшила ей из лоскутков тапочки, в них Лилька вставила две золотинки и, когда шла



на репетицию, смотрела под ноги, любуясь, как они блестят, и вытягивая «по-балеринному» пальчики.

Сергей Иванович, руководитель хора, хвалил Лильку и ко дню рождения революции доверил ей *соло*. Это была победа, ведь еще год назад она играла в ансамбле на «шкурках», в группе ударных, и стояла всегда в глубине, у клеенчатого задника, за аккордеонистами и балалаечниками, а сейчас — солистка! Румянец заливал Лилькино лицо, она стеснялась и ликовала одновременно. Больше всего она хотела, чтоб отросли волосы как у Зины Поршиной: у той была роскошная коса до пояса и красивое платье с обтянутыми пуговичками, и был самый высокий голос в хоре, и стояла Зина в первом ряду, прямо под рукой у Сергея Иваныча.

Но волосы росли медленно.

Лилька репетировала, репетировала... Пела ребятам на крыльце, пьяному Савке и пацанам, даже глухому деду Ефиму, соседу, пела. Дед закрутит свою папироску, обсыплется весь табаком и слушает, улыбается.

Сергей Иваныч выдал ей костюм для сцены — платье, сшитое из дешевой миткали еще до войны, и Лилька считала дни до праздника. Представлялся ей зал Драматического театра, его бархат, большие нарядные двери; она уже видела себя на сцене, и маму с братом в зале, и улыбку Сергея Ивановича...

Подходил к концу октябрь. Стало холодно, детвора уже почти не спускалась к речке, да и мальки, наверное, выросли и уплыли в теплые реки. Сидели больше на крыльце и на общей кухне, вечерами Лилька обвязывала с бабушкой платочки для раненых.

Как-то раз зашел Савка-пьяница и сказал, что в Нижнем будут продавать рыбу. И мама послала Лильку:

— Иди, ты любишь по очередям. Может, достанется. — И добавила: — У меня смена.

Лилька побежала счастливая. Рыбы купить, с людьми постоять — ей только в радость! Давали по килограмму, партиями по двадцать человек: стоишь, стоишь, а потом раз — и ты в следующей двадцатке. Но отпускали медленно, иногда с руганью. Она рассматривала дорогую лепнину на потолке большого и богатого здания — Гастронома, где до войны продавалась черная и красная икра в деревянных бочках. Икра была дорогая, и дедушка покупал только кулек конфет. «Дунькина радость», — говорил он. «Лилькина радость!» — смеялась Лилька.

Незаметно пролетел час, пошел второй, третий, и заерзала Лилька. В туалет захотела — «посикать», как баба Саша говорила, а отойти нельзя: очередь цепко следила за каждым. Лилька сжимала губы, переступала с ноги на ногу, зажмуривала крепко глаза или, наоборот, широко их распахивала и отчаянно всматривалась в лица других, вспоминала о бочках с икрой, представляла, как она приносит рыбу домой, как радуется брат, как дымится вкусный рыбный суп на столе... До прилавка оставалась еще целая партия, еще двадцать человек, нетерпеливых уже, недобрых, и

когда терпеть стало совсем неважно — скатились с мокрых ресниц две большие девчоночьи слезы и, разбившись о щеку, рассыпались брызгами, и запела Лилька свое соло:

— И с на-а-ами на-а-аш товарищ Ста-а-алин!

Она пела громко, отчаянно, хорошо артикулируя, как учил Сергей Иванович, и горячие слезы катились по щекам в рот, а по ногам прошла теплая и долгая волна...

Темные тучи, фиолетовые, густые, плыли ровно и низко прямо над мостом. Стоял гулкий собачий лай. «Свадьба, наверно, — подумала Лилька. — Только б живодеры не приехали».

Она шла домой с большим хрустящим пакетом на вытянутых руках, широко расставляя ноги в хлюпающих сапогах, блестя косящим глазом — и счастливая.



Олег ИГНАТЬЕВ

«ПОД ШИРЬЮ ГОЛУБОЮ...»

* * *

На востоке погремело,
Озарило дальний стог,
И тихохонько, несмело
Старый сад всплакнул чуток

О малине, что склевали
Где скворцы, где горобцы,
Об ограде, что едва ли
Восстановят огольцы,

О закатах, что нарочно
Пожалей — не возвернешь,
Да еще, уж это точно,
О цветах, прекрасных сплошь.

Краснощеких, ясноглазых,
В лентах желтых, голубых,
О цветах, что ставят в вазы
И плетут венки из них,

О цветах, чей запах многим
Показался бы родным,
Не забудь они дороги
К палисадникам своим.

* * *

Видать, помешался июль на дожде,
Коль, радости не умаляя,
Стал слушать, как ливень шумит в городьбе
И лупит по крыше сарая.

И листья черемухи по одному
Совались под градины сами.
И все, что мерещилось прежде уму,
Я видел своими глазами.

Но даже уверясь в насущном — гроза
Гремела! — душа потаенно
Ловила незримых небес голоса
И церкви заоблачной звоны.

Но чтоб ее тайны коснуться опять,
Под небом шатучим едва ли
Найдется иной лучший способ летать,
Чем тот, как во сне мы летали.

И надо ли спрашивать, вкривь или вкось
Негаданный ливень пролился,
Когда не молился, а свыше далось,
Далось, чтоб я Богу молился.

* * *

Под ширью голубую
На ветреной Оби
Я думал: «Черт с тобою!
Не любишь — не люби».

Приветствую свободу!
Но встречная баржа
Разрежет тихо воду,
Как режут без ножа.





* * *

Я знаю то, чего другие
Не могут знать — я не они.
Я вижу мир, словно впервые
Один остался, без родни.

Душа то никнет, то взлетает,
Судьбы запутывая нить.
Так сирота всю жизнь мечтает
За братом тенью походить.

Иль за сестру ввязаться в драку
И так обидчику впаять,
Чтоб он, подлец и задавака,
Не забывался вдругорядь.

Смурные сбивчивые мысли
Пугают сердце по весне,
Как будто, дни мои расчислив,
Показывают кукиш мне.

Темно в душе от их ухмылки,
Что в зимнем поле от пурги,
А мир хмельной, цветастый, пылкий —
Он, растворенный в каждой жилке,
Моей не чувствует туги.

* * *

Что понял я, вздыхая средь могил?
Господь еще Россию не простил.

За взорванные храмы, за кресты,
Низвергнутые с чудной высоты,

За кровь детей невинных, за извод
Священников, что пущены в расход,

За гибельную жажду грабежа
В почин того, что прах, и тлен, и ржа,

За то, что по сей день ее стезя
Ведет туда, куда идти нельзя.

* * *

Похоже, осень будет ранняя,
Повсюду желтая листва,
И галок шумные собрания
Крикливей стали неспроста.

И все придирчивей сознание,
Что ничего, прильнув к душе,
Природа, кроме созерцания,
От нас не требует уже.



Петр НИКИФОРОВ

«МЫ, БЫВАЛОЧА, ЛАВЛИВАЛИ...»

Р а с с к а з ы

Как я зайца живьем брал

Я тогда шофером работал. Произошло это зимой, в дороге. С другом Генкой ехали мы и по сторонам на заячьи стежки поглядывали. Денек выдался теплый. Ружьишко при мне было — обернутое тряпкой, лежало за спинкой сиденья.

Видим, слева небольшой березовый колок, а к нему свежий заячий след потянул.

— Только что пробежал, аж тропка пахнет! — подзадоривает меня друг. — Иди, ты в валенках. А я тут постою, посмотрю, как ты его ухлопаешь.

Вытянул я из-за сиденья ружье и, стараясь ступать бесшумно, направился к леску. Подкрался, вижу — нора. След туда есть, а обратно — нет. «Ну, — думаю, — заяц, погоди! Я тебя живьем брать буду».

Завалил выход снегом, яро работая ногами, а зайца не слышно. Поставил ружье к березке и, присев, начал пихать руку через снег в нору. Ощупал — никого! Где же он? Передвигаюсь ползком, нору исследую... Ага, вот! Рука коснулась спины косого. Он вздрогнул, сжался весь.

Тихохонько ощупывая спину, подбираюсь к ушам. Хватать за них — и выволок зайца вверх! Встать еще на ноги не успел, а он как забрыкается, да как заверещит душераздирающе, да как начал задними лапами мне фуфайчонку пластать — аж клочья ваты полетели!

Оберегаясь заячьих когтей, отшатнулся я неловко и упал в снег навзничь. Заяц, стало быть, на меня — едва успел я глаза рукавом прикрыть. Вытанцовывает на мне, шапку сбил, лицо искорябал и орет так, что в ушах режет. Я до того растерялся, что не догадаюсь его уши выпустить. Пальцы у меня словно окаменели. А косою (здоровый русачина попался!) уже совсем было меня в свою нору затолок.



«Ах ты, вражина! — думаю. — Врешь, не дамся я тебе». Собрался с силушкой да как швырну косого метров на десять! Вскочил — и за ружье. Поймал на мушку, на курок жму... Тьфу! Предохранитель-то не снял вгорячах.

А заяц — за куст. И поминай как звали.

Подобрал я шапку и побрел к машине, на ходу лицо снегом утираю. Глядь, а мой друг Генка катается по дороге, слова вымолвить не может.

— Ну что ты? — бормочу. А сам знаю — что: наблюдал Генка ту неравную схватку и теперь помирает со смеху.

Раз пять пытался он встать на ноги, но только безнадежно махал рукой и опять хватался за живот. Наконец, едва выдохнув, произнес:

— Помоги мне залезть в кабину. А то в коленках слабость такая...

Поехали мы дальше. Генка поглядит на мое покорябанное лицо и на фуфайку, от которой одна спина осталась, да снова как разразится...

Я еду молчу. Крыть-то нечем.

— Что ж, — говорит, — не стрелял? Или тебе заяц память отшиб?! — И опять заходится от смеха.

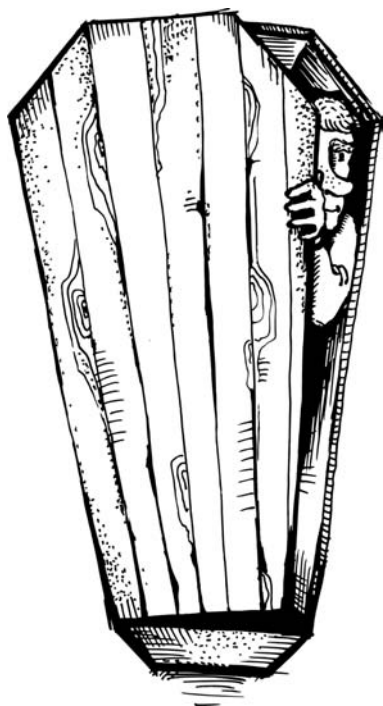
Упросил я его никому не рассказывать и сам молчал целых тридцать лет. Во сне боялся проговориться. Да вот не утерпел...

Гроб

Заведующий сельхозотделом черепановской районной газеты «Путь к коммунизму» Владимир Григорьевич Шелохвостов отправился в командировку в дальнюю деревню.

Постоял на дороге, остановил грузовую машину ГАЗ-51. Забрался в кузов, а в кузове гроб стоит — новенький, свежеструганый, для какого-то раба божьего приготовленный... Соседство, прямо скажем, не очень





приятное, но ехать-то надо. Да и где наша не пропадала, чего не навидались! Присел Володя на корточки, встречному ветру лицо подставил.

Поля, сенокосы... Проехали километров десять — двенадцать, и вдруг откуда ни возьмись — тучи затянули небо, порывы ветра усилились, начал накрапывать дождь, грозящий перейти в ливень. Дождевика у Шелохвостова не оказалось, как всегда — в пиджачке. Поежился, поежился, отогнул гвозди, придерживающие крышку гроба, снял ее, забрался внутрь и крышкой прикрылся.

Через двадцать минут дождь стал стихать и слабее барабанить по крышке. Тут машина остановилась и подобрала еще одного пассажира. Он сел в уголок кузова, с опаской поглядывая на гроб, перекрестился и стал смотреть на дорогу. Вскоре дождь совсем прекратился.

Шелохвостов приподнял крышку, отодвинул ее в сторону на глазах у обалдевшего пассажира и, вылезая из своего убежища, спрашивает:

— Что, мужик, дождь-то кончился?

Тот побелел как мел и, с воем вымахнув на ходу из машины, кинулся бежать в поле. Владимир Григорьевич забарабанил по кабине, водитель остановился. Вместе начали кричать и звать мужика назад. Едва уговорили. Отдышался он, поверил, что Шелохвостов не оборотень, и все продолжили путь.

«Мы, бывалоча, лавливали...»

Эта занимательная история случилась в тридцатых годах с деревенскими охотниками-любителями, которые вознамерились убить медведя, повадившегося таскать далеко забредающих коровушек.

Верхние Тайлы — самое отдаленное таежное село района. Мужики в нем жили в основном приискатели и плотники. Плотники уходили по найму в другие села. Немало было среди мужской половины и охотников. Они не раз пробовали укараулить косолапого, но безуспешно. Хитер был разбойник, а пакостил с каждым разом все наглее.

Когда задрал двух телок прямо в версте от деревни, бабы взбунтовались, подступили к мужикам, имевшим ружья.

— Укараулите вы его окаянного или нет? — кричали хозяйки задранных телок. — Эдак он весь скот передавит. Или духу у вас на медведя не хватает?

— Духу — что, духу хватит, — огрызались мужики, — да где его найдешь-то? Уж очень хитрющий, а может, и не один он.

— Эх вы! — в сердцах кричали бабы. — А еще штаны носите...

Этого уж и самые спокойные не могли вынести.

— Айда ко мне домой, — сказал Петрован, здоровый и крепкий мужчина, слышавший в деревне за предводителя, — и у меня обмозгуем все. А то от их визгу, — махнул он рукой в сторону баб, — скоро уши заложит.

Человек семь мужиков, переговариваясь и покуривая, двинулись за Петрованом. Часа два «обмозговывали», накурили в комнатухе, аж друг дружку не видать. Наконец все уцепились за умную мысль, высказанную старым дедом Семенычем.

— Мы ране-то как их лавливали, бывалоча, — прохрипел он старческим прокурненным голосом. — Медведь — он, брат, умен, почти как человек. А иного вон, как Кешка, — дед мотнул седенькой бородашкой в сторону озорного неженатого парня, — дак и поумнее будет...

Все дружно захохотали, зная, что Семеныч поддел Кешку за его проделки на деревне, от которых доставалось и деду.

— Давай, дед, ври дальше, как вы их лавливали, — заржал нисколько не смутившийся Кешка. — Поди, руками?

Семеныч отвернулся от него, как от пустого места, и продолжал:

— Да вот я и говорю. Медведь — он к задранным телушкам-то придет обязательно. Только все кругами обойдет, проверит, нет ли человека, уж он все высмотрит. Дак мы, бывалоча, на деревья залазили, а сами хвоей натирались или маслом пихтовым. Оно запаха отшибает. Но на дереве долго не высидишь, может, две ночи придется сидеть — не мудрено заснуть, шелохнуться, а то и, не дай бог, упасть. Мы брали короб. Подвешивали в листе или в пихтаче, забирались в него и караулили...

Мужики согласились. Взяли на конюшне огромный плетеный короб, в котором возят зимой глызы*. Укрепили его на двух веревках под самыми верхушками пихт, ветками замаскировали. Внизу, на поляне, лежали задранные телушки, которых медведь завалил большой кучей хвороста.

С вечера зарядили пулями ружья. Отрядили лезть в короб Петрована, Кешку и занимавшегося охотой Андрюху, степенного мужика лет сорока. Все намазались пихтовым маслом. Курева с собой им не дали: зверь учует. Осторожно забрались в короб. Петрован захватил еще топор.

Ночь просидели не сомкнув глаз, прислушивались к каждому шороху. Прозябли малость: дело было осенью. День тоже прошел спокойно.

К вечеру далеко-далеко показался Семеныч. Петрован помаячил ему, что, мол-де, тихо пока. Дед дал знак сидеть еще ночь. Так было условлено. Всмотривались до рези в глазах в каждый куст... Ничего. Начали клевать носами.

— Поспите чуток, — шепнул Петрован, — а я посижу. Ведь неизвестно еще, сколько нас тут этот старый хрыч Семеныч продержит.

* Глыза — застывший на морозе навоз.



Андрюха с Кешкой мгновенно уснули, а Петрован, тихонечко подвинувшись к краю короба, стал нести вахту.

Прошло около часа.

— Дрыхнут, заразы... — беззлобно подумал Петрован о товарищах. — Не придет, наверное, косолапый.

Вдруг раздался шорох и на поляну, оглядываясь и пригнувшись, вышел большущий медведь. Постоял и двинулся к куче хвороста.

Мысли лихорадочно замельтешили в голове Петрована. Будить Андрюху и Кешку? Стрелять? Вдруг спросонья скажет кто слово — и поминай как звали медведя! Потянулся к своему ружью, но на него навалился Кешка. Ружья Кешки и Андрюхи стояли прислоненные к противоположной стороне короба. Дотянуться, не разбудив мужиков, не сделав шороху, невозможно.

И тут рука Петрована коснулась топора. Сейчас он уже знал, что делать. Недюжинной силы человек, мальчишкой еще начавший работать плотником, он владел топором как циркач. Иногда с земли втыкал его в двенадцатый ряд сруба чуть не по самый обух, так что двумя руками потом не могли выдернуть.

Зверь уже растаскивал хворост, иногда, прислушиваясь, поднимал морду. Петрован намертво сжал топориче и тихонько-тихонько стал приподниматься на занемевших от долгого сидения ногах. Он знал, что не промахнется. И даже мелькнула у него мысль, как устыдит проспавших Андрюху и Кешку.

Только медведь приподнял голову, Петрован с силой взмахнул отточенным как бритва топором и, хакнув от натуги, запустил его в косолапого. Что произошло дальше, он и сам толком не сообразил — не только Кешка с Андрюхой, враз проснувшиеся от его возгласа.



Метнув топор, Петрован зацепил краем лезвия за одну из веревок, удерживающих короб, и три охотника вывалились прямо на голову медведю. Зверь рывкнул так, что, как утверждал после Кешка, с пихты посыпались сухие иглы, сделал бешеный скачок вверх, затем в сторону и, ломая все на своем пути и воя, скрылся в тайге, где напала на него «медвежья болезнь».

О том, приключилась ли подобная хворь у нашей незадачливой троицы, очевидцы не припомнят. Только прибежали они в деревню с разных сторон, без ружей, вопя на всю округу, насмерть переполошили собак и жителей. Наутро, когда все выяснилось, до упаду хохотали стар и мал. Прямо-таки валялись по полу. Кешка грозился расчесать деду Семенычу за совет бороду. А встретив его, вытирающего старческие глаза от смеха, сам не сдержался от улыбки:

— Подучил же, черт старый, в корзинку эту забраться... Еще и врет: «Мы, бывалоча, лавливали», — передразнил он деда.

Шутка

Середина шестидесятых. Утро в редакции районной газеты. Здание новое, только отстроенное. Два этажа: на первом — типография, на втором — редакция. Приходили рано, чтобы набрать на первую полосу оперативной информации.

Николай, молодой литсотрудник сельхозотдела, работал третий год. Человек был обстоятельный, с кондачка ничего не сделает. Семь раз проверит, а раз отрежет. У него ничего не получалось с первого раза, шло с пробуксовкой, он за все очень переживал, брал на себя много организующей, подготовительной работы, а строчек в газету давал мало — не был борзописцем — и поэтому не выполнял норму.

Заведующий же отделом Сергей Михайлович Смирных-Першин, прозванный за двойную фамилию и интеллигентность дворянином, — антипод Николая. Все с налета, с поворота, на ходу, на бегу. Хотя и проколов немало случалось, но сходило с рук — за скорость, и редактор Виктор Семенович его подхвалявал.

Вот и сегодня он успел взять и тут же продиктовать на машинку две информации, а Николай, как ни бился, ни одной...

— Учись, студент, — довольно потирал руки заведующий, заканчивая диктовать третье сообщение из глубинки про высокие привесы на Жерновской ферме Елбанского совхоза.

— Николай, ну что ты, елки-палки, одну-то хоть мог сделать? Серега вон третью надиктовал, — укорил зашедший редактор. — Давайте жмите: уже десять часов. Скоро мне первую полосу подписывать. Серега — молоток, может, еще одну — строк на 20—25 возьмешь, дырку заткнем?

— Попробуем, — ответил Серега и буквально через пятнадцать минут сдал нужное количество строк.

— Пишешь за вас, тунеядцев, — ворчал он. — Правильный лозунг партия выдвинула: «Кто не работает, тот не ест». Жрать тебе, Колька, не надо давать — как гончим перед охотой, — издевался он над сотрудником.

Коля нервно закурил, спустился в типографию и пожаловался другу линотиписту Геннадию.

— Плюнь, Коль, — успокаивал тот его. — Ты уж сделаешь — так вещь, а этот «дворянин» Смирных-Першин сроду все переврет: и суть, и фамилии с именами, одним словом, ветродуй.

— Редактор-то его хвалит...

— А куда ему деваться: писанины-то нет, вы втроем третий месяц газетку клепаете. Не фотографироваться же ему на первую полосу вместо материала.

— Коля, за стол, давай, милый, звони, с меня хватит, сдай хоть одну! — кричал Серега на всю редакцию. — Танька и то уже две взяла.

— Ишь, как орет, — процедил Генка, — выдабривается перед шрифтом. Сейчас попробуем его поучить малость. Я когда в Казахстане работал, мы так одного учили...

Он зашел в кабинет к завтипографией, там никого не было. Взял телефон, закрыл микрофон носовым платком, чтобы голос не узнали, и набрал номер сельхозотдела.

— Слушаю вас, — отвечает Смирных-Першин.

— Это газета? — спрашивает Геннадий.

— Да, газета, Смирных-Першин, завсельхозотделом, слушает, — важничал Серега.

— Вас беспокоит секретарь парткома из Березовского совхоза Артемьев. Нельзя ли передать о некоторых наших достижениях в газету?

— Можно, можно... — обрадовался Серега. — Сейчас все и сотворим махом, а завтра уже читать будете к обеду.

— Записывайте. Первое: проводили вчера из Абрамовки аж тридцать человек парней в армию. Ну, распишите сами: с пляской, гармонью, со слезами, клялись Отечеству, подруги у них на шее висели. Вы газетчик, знаете...

— Да уж знаем, нарисуем, — заверил Серега.

— Так, второе, — продолжал Геннадий. — На этом же отделении получили 120 телят от 100 коров за год. Запишите фамилии передовиков... Записали? Отлично. И третье сообщение, уж совсем хорошее. Клуб мы наконец новый отстроили в Хмелевке. Блестит все, свежей краской пахнет, молодежь по вечерам до полуночи веселится. Напишите, а подпись мою поставьте, ладно?

— Спасибо большое, все распишу как следует, завтра довольны будете... и подпись, естественно, ваша будет.

— Ага, — сказал Генка и положил трубку.

— Семь информации я нынче в номер забухал, Виктор Семенович, — похвалился Серега редактору.

— Молодец, так и надо, отмечу тебя к празднику.

Сергея аж порхал по редакции, весь сиял, гордясь небывалой работоспособностью.

На другой день в двенадцать часов в кабинете редактора раздался звонок. Он снял трубку и не успел раскрыть рта, как в ухо ему загудел бас секретаря парткома Артемьева.

— Вы что там, белены объелись? Совсем рехнулись, бумагомараки. Это кто мне такую свинью подкинул? Говори сейчас же! Я через минуту еду в райком партии, на бюро заявление напишу!

— Какое бюро? Какой райком? — округлил глаза редактор.

— Ты узнаешь, как меня позорить, за моей подписью всякую галиматью в газетке тискать. Тебе расскажут, что в Абрамовке всего семнадцать пацанов, а до армии из них только двое на тот год дорастут. И коровы, которые двойнями телятся, тебе зачтутся. Мы падеж не можем прекратить, два года с бруцеллезом бьемся, на том отделении у нас один молодняк стоит, ни одной буренки нет, понял?! — орал Артемьев. — Ну а за клуб — он у меня как заноза в сердце, весь развалился, крыша на подпорках, а все сил нету сделать — я тебе прям сам, без райкома морду набью, готовься.

Возмущенный голос оборвался, и раздалась короткая гудка. Редактор сидел с минуту ошарашенный, затем достал платок, вытер вспотевшую лысину, открыл свежий номер, прочитал злополучную информацию и кинулся в сельхозотдел.

— Это где ты мне, гад ползучий, новобранцев тридцать штук в Абрамовке наскреб? Пополнил до краев нашу непобедимую и легендарную? Где коровушек таких многолетних насобирал, ударник мой милый, отвечай! — топал он ногами, тыча ошалевшему, ничего не понимающему «дворянину» газеткой прямо в лицо. — Ну а уж за клуб-то я тебя, расторопный ты мой, в лагерь упеку. Понял? Пока там, на лесосеке, на новый клуб бревен не напилишь, не видать тебе свободы.

Три дня разбирались, кое-как уразумели, что кто-то подшутил, но кто — так и не узнали. Генка с Колькой не сознались. И даже по прошествии многих лет.

«Подсобили»

Осенью 1994 года в лесхозе уже два месяца как не давали заработной платы. Наконец ошастливили — выдали долгожданную.

Водитель «зилы» Андрей Миронов, вальщики леса Александр Елкин и Виктор Морозов отпросились до своей деревни Еловки: отвезти деньги домой, помыться в баньке... Доехали до Завьялова.

— Что, мужики, возьмем бутылочку? — предложил Елкин.

— Да надо бы по маленькой, — поддержали его Андрей и Виктор и взяли сразу пять на троих.

— Две — до баньки, три — после, будет порядок.

До Еловки было еще километров двадцать. На пути деревня Шмаковка. Тронулись. Мимо проплыли окраинные дома Завьялова.

— Погоняй, Андрюха, своего Карьку, скорей дома будем, — пошутил Виктор.

— А че гнать-то как угорелым? — урезонил Сашка. — Успеем... Сверни в сторонку, трахнем по стаканчику — и вперед. Гаишников тут нет, одни рыси и зайцы. Не бойсь! — хлопнул он по плечу Андрея.

Тот послушно крутнул баранку вправо, резко тормознул под раскидистой пихтой, так что пассажиры чуть не ткнулись носами в стекло.

Дружно высыпали из кабины. Сашка одним махом скovyрнул пробку. Глухо ударили алюминиевые кружки. Закрыхтели, захрустели малосольными, замолчали.

— Хороша! Вроде не самопальная — заводская, — похвалил Виктор.

— Счас допьем и айда, — сказал водитель.

— А че тут допивать?! — возмутился Сашка. — Рот только мазать. Открывай вторую, пока не степлилась в кабине.

— Ага, — поддакнул Витька. — А то ни то ни се.

Когда допили вторую, стало маленько «то». Заговорили, перебивая друг друга, замахали руками, залезли в машину. Андрюха привычно тронул «зилка», дорога мягко побежала под колеса. Закурили все трое, в кабине хоть топор вешай, одурманились еще больше. Но ребята были молодые, здоровые, не сказать чтобы и сильно опьянели — так, малость.

Впереди на обочине стоял «запорожец», рядом пожилой человек. Поднял руку, просил остановиться.

— Тормози. Это дядя Вася из Шмаковки, я его знаю, — скомандовал Сашка. — Подсобить ему надо.

— Помогите, сынки, что-то с машиной случилось, кажись, крышку распределителя пробило.

— Может, посмотрим?

— Да нет. Дома я разберусь с соседом потихоньку, да и вам некогда.

— Цепляйся, — распорядился водитель.

— Э-э, дядя Вася, — протянул Сашка. — На такой веревке только твою телушку водить, брось ее в багажник. Мы своим тросом зацепим, надежней.

— Да, вот это трос! Только в серьгу не пролезет.

— А мы за балочку переднюю, вот таким макаротом — и мертвяк. Вот эдак, аккуратненько. Все, можно ехать.

— Куда ехать-то, че ты все прыгаешь, как нахлестанный? — закипятился Сашка. — Счас по одной — и поедем тихонько.

— Давай!

Выпили еще бутылку. Закусить было почти нечем — полбуханки хлеба, от нее и отщипывали по кусочку, да дядя Вася кулек пряников пожертвовал.

— Не боитесь пить-то дорогой?

— Кого бояться? Тайга кругом да бездорожье. Скажешь же... Эх, дядя Вася...

Покурили, поехали.

— Полегче на поворотах! — посоветовал Виктор. — Машину же тащим.

— Знаю, — огрызнулся Андрюха. — Учитель нашелся! В зеркало за ней смотрю, трос длинный, надежный.

— Эх, елки-палки. Сколько мы выпили? Три? — загозил Сашка.

— Три.

— И ни в глазу даже!

— Водка слабая. Разбавляют, заразы, прямо на заводе. Счас ведь бардак везде.

— Ох, не говори! Бардак так бардак, такого сроду не было.

— А спекулянты поганые живут, брюхо за наш счет набивают. Буржуи! Заелись, сволочи, а нам, работягам, шиш с маслом...

— За копейки вламываем, и те не вовремя отдают. Когда такое было?! — задели ребята большую тему.

— Эх, жизнь! Дай-ка глотнуть, Санька, прям с горла, — лихо объезжая выбоины и пни, приказал Андрюха.

Все по очереди попили «прям с горла», отщипнули от буханки, закурили. И пошел уже пьяный разговор за жизнь, за работу, за прошлое, за отцов, за поруганную рабочую честь. Каждый старался высказать свое, наболевшее, почти не слушая другого.

Машина неслась по лесной, привычной для вездехода дороге, разбрызгивая огромные позеленевшие лужи, прыгая на ямах, срезая повороты, объезжая пни, деревья, трясясь на крохотных, в пять шагов, мосточках... Хмель ударил мужикам в головы, говорили громко, все сразу, курили одну за другой.

Мелькнули домишки Шмаковки. До своей деревни оставалось семь километров.

Помянули и баб недобрый словом: сейчас разорутся, скажут, пьяные приехали, деньги пропили. А какие это деньги? По сто пятьдесят тысяч в месяц?

— А ты переведи, переведи их в старые рубли-то. Это знаешь сколько будет? — орал Сашка Андрюхе в ухо. — Это же семисят рублей! Во! Усек?

— А че ты на них возьмешь? Бабе сапоги? А пацанам, себе? Жрать-то че будешь, балбес?! — вставил Витька.

— Сам балбес. И болван вдобавок, — психанул Андрюха. — Я-то при чем?

— А-а, при чем? — не унимался Сашка. — А кто за Ельцина глотку рвал два года назад? Не ты?

— Дак откуда я знал, что все так обернется?

— Откуда?! Думать надо, баран, шарабаном, а потом тявкать, — разошелся Сашка.

— Оба вы бараны, — подвел резюме Витька. — Я вам уж пять минут кричу, хочу сказать: что вы к сапогам бабьим привязались? Мелочь это! Ты дом, дом попробуй купить, чудо в перьях! Или «жигули». Где ты миллионы-то возьмешь? А? Что примолкли?

Машина уже вбежала на околицу родной деревни. Кое-где загорались огоньки, приветливо помигивали. Включил фары и Андрюха. Последняя, пятая бутылка обошла еще круг, в ней осталось граммов двести.

— А раньше эти «жигули», «москвичи», «запорожцы» в рассрочку давали, помните?

— Елки-палки! — взвыл Сашка. — Дядя Вася-то, козлы пьяные!

Все оторопели. «Зилон» водитель остановил машинально.

— Черт возьми! Че делать-то?

Боялись даже вылезать.

— Выпрыгивай. Может, живой он?

Выпрыгнули. О ужас! «Запорожец» дяди Васи покорно лежал на крыше сзади грузовика, прицепленный за трос, но без стекол, без дверей, без капота, весь в грязи, искореженный, похожий на большую мятую консервную банку. И самое страшное — без дяди Васи.

— Вот подсобили... Че ж делать-то? Хана нам всем, пересадят...

Хмель из горячих голов мгновенно вылетел почти весь. Андрюха прыгнул к фаркопу, мгновенно открыл его, бросил трос на землю — и в кабину.

— Поехали искать его. Вот наделали делов! Хоть бы живой был.

«Зил» рванул назад по дороге, вспарывая темноту светом фар.

...Дядя Вася, когда его только начали буксировать, радовался: ребята знакомые, ничего с него не возьмут, дотянут до самого дома. Однако через некоторое время стал беспокоиться: быстро и неосторожно едут. Когда же понял, что про него просто забыли, начал мигать светом, кричал, сигналил, свистел — все напрасно.

Он нырнул вместе с машиной в канавы, лужи, налетал на пни, чуть не свалился с мостка и желал только одного — чтобы отцепился трос. Но увы! Наконец, решил выпрыгнуть. Катапультировался удачно, не считая что изодрался до крови, зато ничего не сломал, не вывихнул, не расшибся насмерть.

Долго сидел на дороге, обхватив голову руками. Когда отошла смертельная опасность в отношении самого себя, он горько зажалел «запорожец»: не старей еще, сколько бы мог служить!

— Ах, паразиты! Ах, свиньи пьяные! — закипела вдруг ярая злоба на мужиков. — Все морды им порасхлещут! — Он схватил осиновую палку и двинулся вслед за «зилон», все более распаляясь в праведном гневе.

Через полкилометра заметил полосы на дороге: «запорожец» тащили на боку, на крыше, опять на колесах покотился, снова на боку... А вот и стекла побитые. Далее дядя Вася приударил трусдой: шибко хотелось увидеть свой изуродованный «запорожец». Но нашел только левую дверку.

— Господи боже мой! — шептал он, трясущимися руками обшаривая жюльканную и порванную дверку. — Ох, гады полосатые, чтоб вы все передохли! — поносил он мужиков самыми последними словами. — Доберусь я скоро до вас!

Где шагом, где бегом, уже и свою деревню пробежал. Сразу за деревней — еще одна дверка. Ее хозяйственный дядя Вася прислонил к березе — пригодится. До капота он не добежал: навстречу из-за поворота вырулил «зил», резко затормозил.

— А-а, собаки подворотные! — кинулся дядя Вася на мужиков. — Поубиваю гадов на месте! — неистово орал он, проворно прохаживаясь толстой суковатой палкой по хмельным головам, защищающимся рукам и спинам мужиков.

— Дядя Вася, дядя Вася! Прости нас, дураков! — робко просили они. — Сам-то хоть живой, слава богу!

Андрюха аж на коленки пал:

— Дядя Вася, охолонь малость. «Запару» твою по барахольной цене купим. Ты живой — и ладно.

— Живой. Едва отошел, — переводя дух, сказал дядя Вася. — Будешь с вами живой, с обормотами, — трахнул он уже кулаком, без палки, по голове подвернувшегося Сашку. — Твари ползучие. Пусть с вами, пьянчугами, милиция разбирается и директор.

— Давай без милиции, дядя Вася, милый, без огласки... Мы что-нибудь продадим, по родне пройдемся, по знакомым денег наскребем, дров тебе с деляны даром навозим. Дядя Вася, выручай!

— Хари ваши немые. Сколь страху от вас, оглоедов, натерпелся. Пусть и вас за решеткой подержат...

Все-таки уговорили мужики пострадавшего. Решили — молчок! Машину по запчастям продают, еще добирают до цены новой и покупают дяде Васе.

Увезли его в деревню, дверки, капот подобрали. Приехали к «запорожку», стали оглядывать.

— А движок-то где? — изумился Витька.

— Вылетел, видать, вместе с коробкой, крепление у них слабое, — сказал Андрюха.

— Да-а, елки-палки...



Поехали назад, под утро только нашли двигатель. Спрятали все в пустом гараже у Витьки и, помятые, грязные, неспавшие, быстро заскочили по домам, отдали деньги женам, вернулись утром же на лесную деляну.

Ехали хмурые, молчаливые.

— Помылись в баньке, — посетовал Сашка.

— Черт с ней, с банькой, не впервой, — сказал Андрюха. — Хоть дядя Вася живой. Думать надо, как с ним рассчитываться.

А с расчетом вышло плоховато. Денег у мужиков нет, продать нечего, калыма никакого. Дядю Васю уговаривать удавалось. Навезли ему дров кубометров сто, испилили, искололи — вся усадьба в новых поленищах. Но этого же мало: «запорожец» нужен такой, как был, ну а за моральный ущерб желала бы семья и поновее.

У хозяйки, Анны Ивановны, терпение кончится — она пишет заявление и несет в прокуратуру. Мужиков вызовут, предложат рассчитаться по-хорошему. Они бегом к дяде Васе — задобряют его, еще дров подвезут, поклянутся, что вот-вот рассчитаются. Он заявление заберет. Спустя время Анна Ивановна вновь кладет заявление прокурору на стол. И опять все повторяется...

Так длилось не один год. А когда отечественная техника ничего не стала стоить, дяде Васе купили «москвич».



Евгений ЕРХОВ

«ВДОЛЬ ОГНЕВОГО РУБЕЖА»*

Евгению Ивановичу Ерхову я многим обязан в судьбе. Он возглавлял литературное объединение при балашихинской районной газете «Знамя коммунизма», куда меня пригласили после удачного сочинения классе в девятом. Ерхов написал врез к моей первой поэтической подборке, так сказать, благословил. Я всегда прислушивался к его мнению. А впоследствии шел его дорогой: дивизионная многотиражка, войсковой журнал...

Ерхов — поэт самобытный и, к сожалению, недооцененный. Он начинал достаточно ярко. По крайней мере, у него сразу проявилась своя интонация. Вот совсем коротенькое, но такое емкое стихотворение о родной речушке:

— Ты откуда взялась,
Пскова?
— У России
из рукава.
— А куда бежишь
среди трав?
— А к России.
В другой рукав.

Примечательно, что в Союз писателей Евгения Ерхова рекомендовали такие мастера слова, как Виктор Боков, Василий Субботин и Ярослав Смеляков. Боков заметил его еще во время службы в Сибири, в Томске. А Смеляков взял в свой семинар на одном из совещаний молодых писателей и, подводя итоги, пригласил заехать к нему на дачу в Переделкино за рекомендацией.

В «молодогвардейском» трехтомнике Смелякова есть строки, посвященные Ерхову. Отмечая важность отображения жизни сегодняшней армии, он заметил, что тема эта «пока еще слабо отражена в нашей большой поэзии. Приятно видеть, что молодые поэты, прошедшие школу армии, и даже связавшие жизнь с нею, и даже продолжающие службу в военной печати, в некоторой степени заполняют этот пробел. Тут в первую голову хочется назвать Евгения Ерхова, поэта сегодняшней армии по самой своей сути».

Конечно, такая оценка мастера дорогого стоит. И Евгений Иванович стремился ее оправдывать. Да вот беда: взваливший звание одного

* Публикация Евгения Артюхова.

из лучших армейских поэтов послевоенного времени, Ерхов мучительно долго приходил к, казалось бы, очень простому выводу — написать что-то выдающееся о невоюющей армии, о рутине повседневной учебы и службы невозможно.

Он увольнялся в запас полковником, в пятьдесят лет, в 1986 году. Афганская война (в ту пору «поход за речку»), межнациональные войны горбачевской поры и попущенные Ельциным «две Чечни» — были уже не его.

И тем не менее он оставил по себе добрую память — десяток поэтических сборников. В них немало стихов, с которыми хочется познакомиться как можно больший круг любителей настоящей поэзии, тем более его земляков.

Остается добавить, что в 2016 году — году 80-летнего юбилея Евгения Ивановича — в подмосковном Пушкине в издательстве «Культура» вышел его объемный том стихов и поэм «После всего».

Евгений АРТЮХОВ

* * *

Все мысли — о тебе,
 и о тебе все сны.
 Как ты живешь теперь,
 чем дни твои красны?
 Числом в календаре?
 Печалью обо мне?
 Синицей, на заре
 лепечущей в окне?..

А у меня — одно
 и то же каждый день:
 черно мое окно,
 повернутое в тень.
 Как солнышко ушло,
 так и сгустилась мгла,
 насупясь тяжело
 из каждого угла.

Обвыкнись или нет? —
 вопрос меня знобит.
 Иду искать ответ
 на капище обид.
 Там, на решенье скор,
 найду изъян в судьбе,
 но не тебе в укор,
 а самому себе.

«Жив?» — спросит воробей.
 «Жив!» — подтвержу кивком.
 Усядется, злодей,
 на древе родовом.
 И держится, как брат,
 не помня никого.
 А я ему и рад —
 как жил бы без него?»

«Жив?» — принесет привет,
 и жизнь вспорхнет во мне.
 В России света нет —
 откуда быть в окне?»

В поле

Может, это и не маки,
 а, уставшие лежать,
 вышли красные рубаки
 свежим ветром подышать?»

Островок в кумач впечатан —
 белый цвет иль белый плат —
 ищут во поле девчата
 невернувшихся солдат?»

Никнет марево в тумане
 и сгорает на огне...
 И уже иван-да-марья
 попадаться стали мне.

22 июня

Кричал петух
 среди бела дня,
 как из десятого столетья —
 посередине лихолетья,
 на гребне
 нашего плетня.

Отец обнял нас, пацанов,
 и мать
 ладонью рот зажала:
 от древних берегов Каялы
 уже катился
 гром щитов...

* * *

Над полигоном небо синее
и свист залетного стрижа.
Ромашки выстроились в линию
вдоль огневого рубежа.

А дали кашкою пропахли,
от них и ветер русокудр!
И не солдаты мы, а пахари,
устроившие перекур.

И автоматы не попрятали —
нам в прятки нечего играть!
Мы от рождения оратаи,
а только сунься враг —
мы рать!

* * *

А и было-то всего:
куст рябины у болотца,
сруб забытого колодца
да тропинка от него...

Проторил ее не Бог —
не бог весть какое чудо.
Может, лешего причуда
завела в чертополох!

Но не думалось о зле, —
крепче связаны корнями
с добротой трава, мы сами,
все живое на земле.

И стоял я не дыша:
без колодца,
без рябины
сразу стали бы пустыней
поле, Родина, душа.

* * *

Любовь? Любовь!
Не просто поманила,
а позвала навзрыд — не отказать.

И вот стою:
разверстая могила,
и некому, и нечего сказать...

* * *

А все же где-то женщина живет,
совсем не за горами и морями,
а за двумя или тремя дворами,
которая со мною встречи ждет...

Та женщина со мною рядом ходит
и только вида мне не подает:
раз в день она восходит и заходит.
И страшно мне:
 в один какой-то год,
как свет погасших звезд до нас доходит,
так до меня ее любовь дойдет...

* * *

Мой дом, мой сад, моя тропинка,
ведущая куда-нибудь...
Какая старая пластинка,
не надоевшая ничуть!

Ее с утра заводит память
и теплит угольком в золе, —
и прослезит, и остограммит,
да и удержит на земле.



После всего

Все, что со мною случилось,
счастьем и болью ожгло,
вдруг от меня отлучилось.
И от души отлегло!

Не позабылось — все помню,
что мне на долю пришлось,
но — уже как посторонний,
не соглядатай, а все ж...

Не был в работе я хлипким,
и — не о том же тужить! —
что получилось великим,
всем теперь принадлежит.

Но и что сделано вами
вправе считать я своим:
как ни ряди — мы делами
в вечном родстве состоим!

И потому так отрадно,
так хорошо на душе
после всего, что обратно
не возвратится уже.



Андрей БРОННИКОВ

ГОЛУБОК НЕ УЛЕТИТ

Р а с с к а з

Раннее утро только-только вступало в свои права. Рассвет едва забрезжил на востоке, но монастырь уже не спал. Его обитатели молились в кельях, и лишь два насельника дружно работали метлами на главной площади перед храмом.

Утренняя тишина внезапно нарушилась взволнованными выкриками юного монаха Пимена, который, высоко поддернув подол подрясника, бежал к административному зданию, где на втором этаже обитал настоятель архимандрит Гавриил.

— Скончался! Скончался! Помер! — кричал Пимен так громко, что с колокольни слетела стая галок и с возмущенным гомоном устремилась прочь.

Насельники с метлами прекратили работу и смотрели издали на испуганного монаха, а тот, не замечая ничего вокруг, мчался, чтобы сообщить скорбную новость настоятелю. Архимандрит, услышав вопли, вышел на балкончик и, низко перегнувшись через перила, ждал, когда подбежит Пимен.

Монах, хватаясь за бока, с хрипом выдохнул:

— Всё. Вдруг помер.

— Кто? — спросил настоятель, хотя вполне догадывался, что это был старец Мельхиседек, келейником которого являлся Пимен.

— Он, — ответил монах, обернулся и указал пальцем в сторону избышки, где в последнее время обретался схимонах.

— Сейчас буду, — коротко ответил настоятель и, уже скрываясь в дверях, добавил: — Кликни отца Николая.

Последний исполнял обязанности эконома и был доверенным лицом настоятеля. Не прошло и пяти минут, как они уже быстро шагали к избышке старца, которая находилась в глубине монастырского сада, в самой глухой его части. Следом, размазывая слезы по щекам, плелся Пимен.



На ходу настоятель отдал распоряжение одному из подметавших дорожку насельников, чтобы пока не допускали посетителей. Тот кивнул и помчался к вратарнику передать указание.

Мельхиседек два с лишним месяца назад был пострижен в схимонахи, хотя изъявил это желание довольно давно. Внешне крепкий и здоровый, добрый и смиренный молитвенник, он пользовался любовью и уважением монастырской братии. Однако были у него и завистники. Его строгость в пастырском общении многим помогала преодолеть страсти, но некоторые называли это грубостью.

Невзирая на кажущуюся его неприветливость, люди шли к старцу за советом, за поддержкой и не получали ни того ни другого. Не было известно ни об одном случае прозорливости. Почти каждого прихожанина Мельхиседек подробно расспрашивал обо всех проблемах, выслушивал и... отправлял домой. Порой со скандалом.

Иных же людей он встречал с едва заметной улыбкой, и, даже когда взгляд его был серьезен, а чело нахмуренным, сияние незримой доброты озаряло лик. Седая борода ничуть не старила, но придавала мудрый вид. Лучики морщин в уголках глаз, казалось, были отражением нетварного света.

Женщин и детей он ласково целовал в макушку на прощание, мужчин изредка гладил по плечу, стариков поддерживал под локоть — и этих прикосновений оказывалось достаточно, чтобы исцелить душу, избавить тело от болезни. Всех прихожан старец напутствовал одной и той же фразой: «Ступай, голуба, и возлюби Спасителя».

С одними он подолгу беседовал, а с другими иногда быстро прерывал разговор на полуслове и замолкал, словно понимая бесцельность наставлений.

Многие чувствовали себя обманутыми, обижались и негодовали. Однако через некоторое время возвращались вновь, уже со слезной благодарностью, к отцу Мельхиседеку: неполученная будто бы помощь вдруг оборачивалась решением проблемы.

Были и такие, кто не связывал встречу со старцем с положительными изменениями в своей жизни, полагая это собственным достижением. Именно от них проистекала двойственность мнения о схимонахе как о прозорливце и подвижнике. Надо думать, и неприятные слухи о нем исходили тоже от них. И все равно людской поток не иссякал.

Страдающих от алкоголизма он принимал только с бутылкой вина и за беседой понуждал ее выпить, но, по словам тех, кто употреблял такое угощение, хмель почему-то не брал их ни во время разговора, ни после, а тяга к горячительным напиткам исчезала навсегда.

В последнее время появились и вовсе кощунственные слухи о том, что старец стал брать деньги с прихожан, хотя подтвердить этого не мог никто: одни категорически отрицали, другие отмалчивались. Келейник Пимен тоже не прояснил ситуацию: он любил своего духовного наставника всем сердцем и очень страдал от этих расспросов.

Настоятелю сильно не нравились такие разговоры и подобные чудачества, однако люди шли и ничто не могло их удержать. В первый момент, когда архимандрит узнал о внезапной кончине Мельхиседека, то испытал даже некоторое облегчение. В дальнейшем он самому себе не мог в этом признаться.

Упокоение старца, конечно, внесло смятение в обыденную и размеренную жизнь монастыря, но без трагизма и тоски. В сердцах монахов поселилась щемящая грусть, сродни той, что возникает у каждого человека после проводов близкого в дальнейшее путешествие. Потребуется время, чтобы братия привыкла к тому, что на тропинке, ведущей от кельи старца, никогда уже не появится его статная фигура с посохом в руке.

* * *

Архимандрит первым вошел в избушку старца. В полумраке едва не запнулся о тюфяк, валявшийся на полу в сенях и служивший спальным местом келейника. Переступил через тюфяк и остановился в дверях кельи. За ним проследовал эконоом.

Тело старца лежало на узкой кровати, прикрытое до пояса одеялом, руки аккуратно сложены на груди, борода тщательно расправлена — это успел постараться монах Пимен. Голова и лицо покойного почти полностью были прикрыты куколем — остроконечным капюшоном с изображением крестов, серафимов и священными текстами. На губах его, как и при жизни, запечатлелась едва заметная улыбка.

Справа стоял старенький диван, на котором обычно располагались посетители. Настоятель вошел и присел на него, тяжело вздохнул.

Эконоом приблизился, наклонился и прямо в ухо прошептал:

— Может, сейчас и поищем?

— Цыть, — оборвал его настоятель, погрозил пальцем и строго добавил: — Ступай распорядись, чтобы прихожан впустили, но дальше Благовещенского не пускать, а то служба скоро. После литургии я сам всем скажу.

Отец Николай кивнул головой и вышел.

— Да скажи, чтобы телефоны повывключали, — уже вслед казначею сердито прикрикнул настоятель. — Теперь тебе, — обратился он к Пимену. — Бегом в столярку, пускай домовину сколотят. Полчаса им хватит: заготовки у них есть, я видел. Потом сюда. Перенесем его в Воскресенскую. Там завтра отпоем и похороним.

Келейник мгновенно исчез, и настоятель остался наедине с покойным. Он внимательно окинул взглядом келью. Стены ее были увешаны иконами, в углу горела лампадка. Рядом со столиком стояла этажерка и венский стул. Скромное убранство завершала приколоченная к дверям вешалка, сооруженная из крашеной доски с гвоздями. Больше ничего не было.



Архимандрит Гавриил опустился на колени перед умершим. Несколько минут шептал молитву, затем поднялся, утер слезы и поцеловал старца в лоб.

— Ну что, старче? — обратился он к мертвому Мельхиседеку. — Вправду ты денежки возлюбил или врут? Я вот не верю. Уж больно тебя народ любил... любит. Да и благодатью тебя Господь не обделил.

Послышался шум из сеней — это вернулся келейник и, запнувшись о свой тюфяк, чуть не упал впотьмах, затем ловко свернул его и поставил в угол. За это время настоятель успел вновь занять место на диване.

— Все сказал. Сейчас будут, — доложил Пимен и остался стоять возле входа.

Долгое молчание прервали два монаха, они с трудом протиснули гроб в узкую келью. Тут же вознамерились переложить тело старца, но были остановлены келейником. Он на минуту отлучился, вернулся с большой белой простыней, постелил ее в гроб и вышел на улицу, чтобы не видеть, как ворочают тело самого дорогого ему человека.

Монахи вынесли покойного, гроб подхватили еще два помощника, подняли на плечи, и скорбная процессия направилась в сторону Воскресенской церкви. Архимандрит остался в келье.

Настоятель не знал, что собирался искать, — лишь догадывался, он не был уверен, что это существовало. Смотреть особо было негде, поэтому поиски завершились в течение пяти минут. Сначала отец Гавриил заглянул под кровать, потом в диван и обнаружил там холщовый мешок. Архимандрит сунул в него руку и похолодел: он так не хотел, чтобы слухи и сплетни оказались правдой!

Увы, в ладони настоятеля зашуршали мятые денежные купюры. Он повернул мешок к свету и заглянул внутрь. Денег было много. В основном по сто рублей, но были тысячные и даже пятитысячные банкноты.

Настоятель опустился на диван, обхватил голову руками и стал вполголоса, со слезами на глазах причитать:

— Зачем? Зачем ты это делал? Как ты погубил себя! Почему не справился с собой? Боже, милостив буди грешному Мельхиседеку. Господи, как умещались в одной душе такой грех и такая благодать? Господи, прости нас грешных!

Архимандрит подхватил мешок, еще раз напоследок окинул взглядом последнее пристанище схимонаха Мельхиседека и вышел.

Удары колокола известили о начале Божественной литургии. Настоятель быстро шел в свое обиталище и через минуту уже поднимался по лестнице на второй этаж. Он сильно спешил. Бросил мешок на стол, прикидывая, куда высыпать деньги, и не придумал ничего лучше, чем ящик письменного стола. Выдвинул его, освободил от всего лишнего и принялся перекладывать туда смятые купюры. Изредка попадались аккуратно сложенные пачки, перетянутые резинками.

Архимандрит оглядел денежную кучу, покачал головой и отправился в церковь, чтобы успеть к концу службы. После окончания литургии он

послал эконома пересчитывать богатство, а сам занялся обычными делами. Когда к полудню вернулся к себе, деньги уже лежали на столе аккуратными стопками, разложенные по номиналам.

— Ну что? — произнес настоятель, глядя на деньги.

— Три миллиона триста девятнадцать тысяч пятьсот рублей, — отрапортовал эконом и протянул сложенный вчетверо листок.

— Ого! — удивился настоятель и, приняв бумагу, спросил: — А это что такое?

— Это я там же нашел, — ответил отец Николай, пожимая плечами. Архимандрит развернул листок и вслух прочитал:

— «Голубок не улетит».

— И все? — уточнил эконом.

— Все.

— Что бы могло это значить?

— Боюсь, что тайну отец Мельхиседек унес с собой в могилу. Но что-то мне подсказывает: деньги тратить нельзя. По крайней мере до сокового дня, — задумчиво произнес настоятель, сокрушенно покачал головой и добавил: — А ведь они сейчас ой как пригодились бы монастырю.

* * *

Минул девятый день после смерти старца Мельхиседека. Жизнь шла своим чередом. Хозяйство монастыря требовало немедленного ремонта, однако деньги по-прежнему лежали в сейфе архимандрита нетронутыми. Недостаток финансов настоятель старался восполнить своей активной деятельностью и трудами насельников обители. Только что он вернулся из новой котельной, где заканчивался монтаж оборудования. Финансов катастрофически не хватало, и сегодня он все-таки решил взять часть денег, которые необходимы были на срочную предоплату за пусконаладочные работы.

После трапезы ему предстояло принять нескольких посетителей как раз по вопросам денежных расчетов, поэтому он вызвал эконома. Через несколько минут тот уже поднимался по лестнице в скромные апартаменты. Следом за ним шел дежурный привратник. Эконом постучал в дверь и, получив разрешение, вошел.

Настоятель увидел за спиной казначея вратарного монаха и спросил:

— Что-то случилось?

— Там внизу женщина к вам просится. Плачет вся.

— Проси, конечно. А что плачет-то?

— Говорит, с ребеночком плохо.

— Проси, — еще раз сказал архимандрит и сел за рабочий стол.

Как только посетительница вбежала в кабинет, он поднялся с места и предложил ей присесть, но женщина кинулась ему в ноги с рыданиями. Догадливый эконом поднес стакан воды — она отказалась.

— Поведайте, что случилось? — участливо спросил настоятель.

Женщина принялась путано рассказывать про свою беду. Маленький сын ее тяжело болен, и спасти его может только операция за рубежом. Значительную часть суммы удалось собрать, но денег не хватает, а времени уже нет.

— Сколько надо? — прервал рыдания посетительницы настоятель.

— Пятьдесят тысяч, — едва вымолвила женщина.

— Только-то?

— Долларов... — Она снова заплакала.

— Однако! У меня и денег таких нет. А сколько это в рублях? — уточнил он у казначея.

Тот быстро посмотрел в компьютере курс покупки, пересчитал и доложил:

— Три миллиона триста девятнадцать тысяч пятьсот рублей.

— Сколько? Сколько ты сказал? — привстал от удивления архимандрит.

— Три миллиона... — начал говорить отец Николай и тоже растерянно умолк.

— Это что же такое получается? — промолвил отец Гавриил, заглядывая в лицо эконому.

— Получается так... — Тот развел руками и опустил глаза.

Женщина, посчитав этот короткий диалог отказом, вновь горько заплакала:

— Значит, улетит мой голубок на небо...

— Как? Как ты сказала? — переспросил настоятель.

Но ответа не последовало.

Тогда он достал из сейфа мешок с деньгами, положил на стол и сказал:

— Голубок не улетит.

В глазах у него стояли слезы.

— Отец, — обратился настоятель к эконому, — возьми эти деньги и помоги перечислить их куда следует.

...Уже в одиночестве, когда эконом и женщина удалились, архимандрит упал на колени, разрыдался и сквозь всхлипывания прошептал:

— Прости меня, отче, прости, прости...



«В СТРУКТУРЕ НОТ»

Молодые поэты Новосибирска

Уже в восьмой раз проходит Межвузовский поэтический фестиваль «Сверхновое чудо», организованный Новосибирской областной юношеской библиотекой. И уже третий год подряд журнал «Сибирские огни», как партнер фестиваля, предоставляет свои страницы начинающим стихотворцам.

Вадим СУХОНЕНКО

* * *

блюз играет в тени деревьев —
легкость танца в структуре нот,
и листают обложки вод
перемешанный с солнцем ветер.

тает тихо в мохито лед,
ты равняешь дыхание с летом
и прозрачность себя с небом.
время странно меняет ход.

ты сминаешь спиной траву,
поселяешь сознание между
драм-машиной и риффом нежным,
брызги света дробят листву.

Маша ШТОЛЬЦ

* * *

Я жду тебя внизу, давай ключи.
 Я их возьму и выброшу без спроса.
 Уже шуршат по гравии колеса —
 К чертям конспект! Пойдем тебя лечить.

Летят ключи, и ноги все в пыли.
 Тебя слегка трясет, твой голос звонок.
 И инди-рок грохочет из колонок,
 И ты кричишь залиvisto: «Рули!

Рули быстрее!» Мелькают города,
 Ночной пейзаж сливается в дорогу,
 Но ты опять играешь недотрогу
 И мне в глаза не смотришь никогда.

— Смотри вперед! — Сияющий проспект,
 Развод мостов, и в небо взмыли птицы.
 Стоять под небом Северной столицы.
 Пойдем со мной. И к черту твой конспект.

Петр МАНЯХИН

* * *

Мне только семнадцать, а я все пропустил,
 прикинь?
 Кругом террористы,
 и надпись на кружке стерлась.
 Ты в море свободной мысли,
 но не заплывай за буйки,
 там холодно, лучший способ согреть — на костер нас.

Город вязевый
 всем ветрам перемен
 открыт.

Даже крест забраться пытается на Мавзолей.
Два года
как наш Крым.
И два года как тысячи по документам живут в золе.

И пусть глаза
разъедает сажа — терпи и замри,
но ни за что не показывай
истинного лица ты им.
Настольная лампа,
что ночью спасала от монстров,
горит и горит.
Как в тридцатые.

Свою речь легко сохранить в голове.
Позаботься о том, чтоб она хоть чего-то стоила.
И тогда в твою
неприметную хилую дверь
кулаком судьбы
постучит однажды
история.



Татьяна ЧУРУС

НЕЗДЕШНИЙ СВЕТ

Р а с с к а з ы

Бабушкин бублик

Бублики-и-и-и!

Горячие, шельмы, пышнотелые — прямо девки на выданье. Да румяные, да маком сдобрены — ну щечки с конопушками, ей-богу. Я обычно пару-тройку сразу беру: одна радость в жизни и осталась. Домой их несу, родимых, а дух такой, аж до печенок пробирает. Но я ни-ни!

За порог ступлю, боты скину, чаю со смородишным листом заварю, из шкапчика стакан граненый в серебряном подстаканнике выну и блюдо — само розовое, а по краям сердечки — на него бублики и выложу. Эх, понеслась душа в рай!..

Вот крошки с губы языком смету, на пальчик плюну, каждую маковку соберу, что на блюде задержалась, — и в роток, в роток. Красота-а-а!

А на стене портрет висит бабушкин. Уж больно бублики уважала покойница, светлая память.

Сам бы ел, да детям надо — только и скажет, бывало. Семерых детей выкормила-выпоила — маленькая, сухонькая. Я, говаривала, целиком его, соколика, ни разу не откушала. Куплю, мол, пяток, разломлю кругляши пополам да свою голодную братию и оделю: это дедушке Алеше, это тетке Фекле, а это Нюрке, Стюрке, Верке — и пошла перечислять всех семерых, никого не забудет. А последышек самый махонький себе, мол, и оставлю. Да только кусочек за щеку положу — кабысдох тут как тут, песье ты отродье, и в глотку заглядывает. Ну разве обидишь его?..

Детки-то выросли, думала, уж тогда наемся всласть — где там: внуки пошли. Вот куплю пяток...

Помнится, и я едала те бублики с бабушкиной руки. Эх...

Именины у нее были в Татьянин день. Раз мы с братьевьями-сестрами говорим: а давайте бабушке большущий бублик подарим?

Сказано — сделано. Сестрица моя старшая была пекарских дел мастерица. Муку просеяла, сахарку туда с маслицем добавила да на дрожжах опару и изладила. Покуда опара прет, замес поставила.



Опара подошла, она замес туда шмяк — и тесто знай наминает себе. Вот намяла всласть да в покое его оставила: пушай пухнет. А после колобок слепила, почитай с бычачью голову, дырку всей пятерней в нем сделала — и в кипяток.

Обварился тот бублик пуце доброго молодца. Тогда сестрица его медком обмазала, маком обсыпала — и в печь. Из печи достала — да прямо к столу именинному.

Бабушка, как увидела бублик тот, аж прослезилась. Спасибо, говорит, уважили на старость лет. Одно и слово что благодать, грех и съесть. Взяла и повесила его над дверью на гвоздь, навроде подковы. Мы рты пооткрывали да несолоно хлебавши по домам разошлись.

С тех пор нечасто гостила я у бабушки: то хворь одолеет, то еще какая напасть. Да и сестры-братовья захирели начисто. А старушка всегда веселая, румяная, на бублик поглядывает — завей горе веревочкой!

Девятый десяток доживала — наказала нам, сродственникам: мол, не сегодня-завтра помру, так вы обрядите меня в платье зеленое, я в нем, мол, замуж за Петю своего пошла, платок повяжите на голову цветастый — мужнин подарок — да на грудь бублик большущий положите.

Поахали мы, поахали, но волю ее исполнили. Так и отправилась бабушка в последний путь: лицо светится, а в руках бублик держит, точно колесо.

Встреча

Просыпаюсь утром: голова светлая, глаз горит, тело легкое — пушинка, не тело! Мать честная, вот это да! И главное, мысли ясные как стеклышко. На часы глянула — половина девятого, опаздываю! А сама улыбаюсь, рот до ушей, ну и что, думаю, ну опоздаю, делов-то!

Есть-пить не стала, одежонку на себя какую-никакую накинула — и на работу. Иду, солнце сияет, птички щебечут — красота!

Захожу в нашу богадельню — тетки мои, смотрю, насупились, на меня ноль внимания: разобиделись, видать. И такими они мне жалкими показались, такими одинокими. Эх, думаю, и чего я с вами вечно грызусь, тетерки вы мои пустоголовые? А сама: девочки, говорю, вы уж не сердчайте на меня, опоздала, мол. Ни одна ни другая в мою сторону даже не чихнули.

Ладно, думаю, стало быть, крепко я вас задела. Вы, говорю, простите меня, я лиха вам не желаю, а даже наоборот, говорю, дай бог вам здоровья. А те как перекладывали бумажки, так и перекладывают. И я сижую перекладываю.

— Что-то, — говорит одна, — наша каракатица не торопится. Двенадцатый час на дворе.

А другая:

— Ага, — говорит, — совсем совесть потеряла.



А я с нежностью только на них и глянула: и о ком это, думаю, судачите, тетерушки мои, кому кости моете? А ведь и я сроду ни о ком слова доброго не молвила. Девочки, говорю, милые, вы уж простите меня, бываю, мол, с вами неласкова. Коли чем обидела, так скажите, не таите. А они пуще прежнего дуются.

— Хоть бы позвонила, — говорит одна.

А другая ей в тон:

— Ага, — говорит, — дожدهшься от нее.

Ну, поторкалась я, поторкалась — не хотят они меня признавать, и все тут. В другой раз я бы оскорбилась, а нынче на душе благостно и червь сердце не гложет. Мало они, тетерки мои, в жизни хорошего-то хлебнули, чего с них возьмешь?

Встала я да и пошла себе — и не хватились. Как сидели, так и сидят, зубоскалят.

Иду по коридору — Гаврил Иваныч, начальник наш. Кивнула ему, здравствуй, говорю, Гаврил Иваныч. И глаз на меня не поднял. Ишь ты, совсем заработался, бедняга, свету белого не видит. Не жалует он меня особо-то, ну да я на него зла не держу: неприкаянный он какой-то, и жена недавно сбежала. Посмотрела я на него ласково — ты извини, мол, Гаврил Иваныч, коли на работе не горю, — и пошла себе.

За порог ступила — на улице благодать! Я аж запела — а тут звонок: суженый мой. Заскучал, небось. Хочу ответить, а телефон кобенится: я туда-сюда — ни в какую. Бог с ним, думаю, вечерком позвоню голубку моему. Тоже, поди, ему подсуропила, не то замуж бы давно уж позвал. Ну, прости ты меня, милоч, коли что не так.

Улыбнулась и дальше пошла: полной грудью дышу, и ноги сами несут — были бы крылья, полетела бы, ей-богу!

А ведь давненько я папашу не навещала. Дай-ка зайду проведаю, как он там. Захожу, а он лежит себе на диване и посапывает в три ноздри, старенький, седенький — жалко и будить! Как же, намаялся папаша, родимый ты мой, жизнь-то была тяжелее тяжкого. Да ведь и я не подарочек! Э-эх! Поцеловала старичка своего в лоб — и в дверь, а на сердце легко, сладостно!

Вот иду, пою и усталости не чую, хоть во рту с самого утра маковой росинки не держала. И мысли дурные все из головы будто повыветрились — один свет в душе, одна благодать.

На скамеечку присела, на солнышко закатное люблюсь: уж больно красота небесная взор радует. Гляжу, женщина какая-то ко мне подсаживается, молодая, черноокая, в цветастом сарафане. Я зажмурилась, а она: доченька, говорит, не признала, что ль, мать родную? И обнимает меня — а рука невесомая, ну просто перышко. До чего хорошо, Господи!

Я рот-то открыла: матушка, говорю, пришла ко мне! Она улыбается: это не я — ты ко мне пришла.

Смотрю на нее и ликую, а в груди точно птица щебечет. Только вот рановато ты, говорит матушка, к нам пожаловала, ну да ничего, мы народ незлобивый, всех привечаем.

Я обернулась: бабушка моя из-за березки выглядывает — платочек беленький, платице зеленое, под стать березке той. Ой, говорит, и кто это такой хороший, и кто это такой пригожий! Не ждала тебя, внученька, ой не ждала! Но ты не горюй — а я и не горюю, аж свечусь вся! — тебе, говорит, у нас понравится, ладно у нас тут. Я только после смерти и жить-то по-человечьи начала, а то одно и знала, что страдать да мучиться. Мы, говорит, тут дружно всем миром жительствоуем (и матушка кивает: дружно, мол), никого не обижаем. И о наших, о горемычных, кто на том свете остался, радеем.

И вот сидим мы втроем на скамеечке, знай посиживаем. Торопиться некуда, суетиться незачем — благодать! И просто как всё, ясно как.

Истинно сказывают: чтобы жить начать, помереть надобно!



ДРАМАТУРГИЯ

Роман СЕНЧИН

ПРОЕКТ

Пьеса в шести картинах

Действующие лица:

Сергей, 18 лет.

Полина, лет 40.

Олег, 18 лет.

Юрий, 21 год.

Татьяна, 17 лет.

Юрий Андреевич, немного за 40 лет.

Людмила Петровна, немного за 40 лет.

Анархист, 35 лет.

Олег Алексеевич.

Григорий Владимирович.

Гутман.

Ева.

Губин.

Губина.

Официант.

Мужчины и женщины вокруг стола.

Картина первая

Комната Сергея. Стеллаж с книгами, большая карта мира на стене. Сергей, отвернувшись, лежит на диване. За столом сидят Олег и Юрий, на столе — бутылка водки, рюмки, какая-то закуска.

Юрий. Счас хлобыстнем — и наладится. Родаки твои, Серег, дело знают. Огурцы, колбасятина... *(Наливает водку.)* Цивилизэйшэн... Ну, вставай давай... Слышь, Серый!

Пауза.

Олег. Давай без него. Царевна мертвая.

Ю р и й. Серег! Счас ведь подкину, бляха. Знаешь, как в армаде таких переделывают? В пять сек! *(Пауза.)* Ну, Серый, вставай давай! *(Обиженно.)* А, хрен с тобой, в натуре. *(Пьет.)*

О л е г. Юрич твои рассказы вот в Интернет загрузил. Уже первые отклики вроде как появились... *(Пьет.)*

Ю р и й. Да ково — Юрич? Аньке дал, она сделала. Я-то... У нас когда информатика была, я на втором уроке что-то с компом сделал... С ума он, короче, сошел. Больше не пускали. Тройбан в конце года поставили. *(Разливает водку по рюмкам.)* И чего, Серег, куда доехал-то? Чего увидел на белом свете? *(Олег делает ему знаки, чтоб не спрашивал.)* Олегыч, не мимикрируй. Я Серегу одобряю в этом плане. Надо отсюда рвать когти. По-любому! До армады как-то жил и жил... Не тужил. А когда везли нас, смотрю: ни фиги ж себе, какая, бляха, страна-то огромная! Иркутск проехали, Красноярск, Ачинск... Двое суток, прикинь! А по карте если — ни фиги почти не проехали... А сейчас снова тут. И тоска. У меня, прикинь, тоска! *(Коротко хохочет.)* Только с умом как-то надо сваливать, а не так — психанул, схватил сумочку, и гори все огнем. Детский сад это, Серый... Ну, хлопнем, пацаны, за все доброе!

Сергей резко встает, садится за стол.

С е р г е й. Давай.

Ю р и й. Орел!

Сергей, Юрий и Олег выпивают. Юрий, закусывая, бодро хрустит огурцом, подмигивает Сергею.

С е р г е й. Да, бухать — лучше всего. Напейся и отрубись, как говорится.

Ю р и й. Да нет вообще-то. Работать надо. Когда не работаешь — вот всякое и лезет в башку. *(Насмешливо.)* Я и не знал, Серег, что ты рассказы пишешь. Но жестоко ты, конечно...

С е р г е й. Что — жестоко?

Ю р и й. Всех нас описал. Мне Анька в компе открыла, я посмотрел — жестоко.

О л е г. Зато правду.

Ю р и й. Мы что, в натуре такие дебилы? Вроде получше как-то.

О л е г. Нет.

С е р г е й. А как ты прочитал? Там же дискета... *(Смотрит на Олега.)* А?

О л е г. Я сам набирал, потом согнал на флешку, отдал вот Юричу...

Ю р и й. Говорю — мне Анька показала. Зачиталась, меня позвала. «Это ты?» — говорит. Я посмотрел, а там такой... Только имя другое. Ну, и до армии я еще, еще в школе, но такой какой-то... *(Пауза.)* Пиши, хрен с тобой.

С е р г е й. Блин, таким мудаком себя чувствую...

Юрий сочувственно кивает.

Сергей. Уезжал — втирал Олегычу на станции, как мне там хорошо станет, как людей найду, все такое — и вот... Снова тут. Прав ты был, Олегыч... Пока ехал — прямо счастье! У окна чаек пил из стакана с подстаканником, мечтал... Приехал утром — тепло, листья под ногами... Весь день по Новосибиру гулял, людей смотрел. Своих искал. Казалось, они внешне даже свои... А все бегут, носятся, машины эти. Суетня в сто раз круче нашей... Вечер — а куда идти? На вокзал, в зал ожидания, где без билетов... А там сиденья не как у нас, а с подлокотниками — не ляжешь. И какие-то бродят... У нас бомжи — свои все-таки, а там... Страшные. И я среди них.

Юрий. Бомжарой проще некуда стать. Отцепишься — и покатился.

Олег. От чего отцепишься?

Юрий. От всего вот этого. От жизни нормальной, короче.

Сергей. Нет, лучше бомжом, наверно, чем так.

Юрий. А зачем вернулся? Сидел бы в этом Новосибе, копейки шулял и смеялся от счастья.

Сергей. Струсил. Понял, чего я стою... Выпьем?

Юрий. Меня от родаков отцепи — не, не пропаду. Работа есть. Пускай копейки платят, а все равно на самое нужное хватает... Армией закален, тоже плюс. И женщина есть, могу к ней переехать. Зовет.

Олег. Женщина?

Юрий. Не могу назвать пока. Но — крутейшая! Сама на меня припала. Я и думать не мог, сидел в будке своей, смотрел на нее, а она взяла и сама начала. И — вот, короче... Бери, Олегыч, рюмашку.

Олег. Пива б сейчас.

Сергей. От пива тупеешь.

Олег. Я бы не отказался. Легче.

Юрий хохочет.

Олег. Чего гогочешь?

Юрий. У Серого такие точно слова в каком-то рассказе... Да и вообще — вся эта наша... Вот точно так же сидят.

Олег. Есть кому записывать. Зафиксировать.

Юрий. Увековечить, бляха!

Сергей. Да уж, летописец... Таких, наверно, в Интернете — как грязи.

Олег. У тебя вещи сильные, сам знаешь. Лично меня так проняло! Хорошо, что вернулся, Серега. Когда ты говорил, что все, навсегда, я поверил. Но не верил, что там где-то устроишься... Все правильно здесь будет, увидишь... Я ради тебя, Сережка...

Сергей. Долбанула водочка! Хорош, Олегыч, расплачусь...

Юрий. Вы тут пообъяснитесь в любви, а я в клозет пока.

Ю р и й выходит.

О л е г. Я честно говорю, Серега.

С е р г е й. Спасибо. А как правильно-то будет? Ну вот вернулся, теперь буду ждать, когда в армию загребут. А приду как вон Юрич — дебилом. Или вообще не вернусь. Из наших дыр и засылают в Чечню, в Афган... Или бухарем стану. Какие еще варианты?

О л е г. Отмажешься от армии, в институт поступишь. В газету корреспондентом иди, хоть внештатным. Может, и с рассказами получится.

С е р г е й. Что ты мне все про эти рассказы! Нет, надо сваливать... Прав ты был: с пустым карманом — это мальчишество. Заработать бы как-то... Пять суток почти до Москвы! Я винить никого не люблю, но родителей... Их — да! Залезли в дырищу... Культуру приехали поднимать... Романтики! Чего им там не сиделось? Подумать же, а? — жил бы сейчас в Челябинске... Надо — сгонял в Москву, еще там куда. А здесь что?..

О л е г. Ты это уже говорил.

С е р г е й. Нечего мне здесь делать, Олегыч. Не-че-го.

Входит Ю р и й, садится, наливает себе водки.

Приглушенно раздается звонок в дверь.

С е р г е й. Кого там еще?

Ю р и й. Может, Танюха твоя. Вчера тут встретил...

С е р г е й. Никого не хочу. Блин, стыдно-то...

Ю р и й. В жизни столько бывает когда стыдно. Если по каждому поводу переживать...

Коротко стукнув в дверь, входит А н а р х и с т — немолодой потрепанный парень в солдатской шинели без погон и пуговиц. На груди значок «пацифик». Анархист выставляет бутылку водки, жмет присутствующим руки.

А н а р х и с т. Нужно срочно накатить. Тыщу лет никого не видел из вас.

О л е г. На той неделе вместе пиво пили.

А н а р х и с т. Неделя — срок! За неделю можно горы свернуть.

Ю р и й. Да уж, ты у нас богатырь. Дорболыз...

С е р г е й. Олегыч, ты с моими нормально... Возьми еще рюмку сходи, а? Стыдно мне с ними... И они смотрят так... Сбежал, вернулся...

О л е г, хмыкнув, выходит.

А н а р х и с т. Зря ты, Серый, сорвался так. Надо было обсудить. Я б тебе столько вписок дал! В Красноярске, в Новосибе. В Москве у меня чуваки... Куда ездил-то?

С е р г е й. Да так...

Ю р и й. Россию ездил смотреть! Он же у нас писатель, оказалось, мощный. Все про нас написал — до последнего пука. Увековечил! И ты там есть...

А н а р х и с т. Знаю. Давал читать.

Ю р и й. А мне чего не давал?

С е р г е й. Давайте накатим лучше. Фигня все. Забыли, короче.

О л е г возвращается с рюмкой и тарелкой горячего мяса.

О л е г (Сергею). Слушай, я их позвал. Неудобно. Они там сидят...

С е р г е й. Пить при них...

Ю р и й. Да пора уж, пора, Серега! Восемнадцать! Взрослый человек. Таким автомат уже доверяют...

С е р г е й (сдерживая бешенство). Хватит! Достало...

О л е г (перебивает). По одной — до родителей.

А н а р х и с т. Давай скорей. (Наливает себе водки.)

Ю р и й. Не обижайся, Серега. Это у меня с армады. Там без приколов спятишь.

Пьют, закусывают.

Ю р и й. О-о, мясковское! Кайф! Мы там, когда мясо кончалось, лося валили. Начальник заставы спецом наряд посылал с левыми боеприпасами за мясом.

А н а р х и с т (жадно жуя мясо). А кто-то горохом пустым питается.

Ю р и й. Работать надо, Анархист, а не в шинели чужой таскаться. Я тебя с детства знаю, сперва интересно было, ходил даже — помнишь? — на тусовки в бункер твой, эту слушал... как ее? Какая там у вас главная группа?

А н а р х и с т. У нас главных нет. Мы анархисты.

Ю р и й. Ты, бляха, в зеркало на себя посмотри. До старости, что ли, в детский сад будешь играть?

Стук в дверь.

С е р г е й (недовольно). Да.

Входят родители Сергея — Ю р и й А н д р е в и ч и Л ю д м и л а

П е т р о в н а — не старые, но тихие и прибитые жизнью люди.

В руках у них закуски и полбутылки вина.

Л ю д м и л а П е т р о в н а (изо всех сил стараясь казаться веселой). Добрый вечер, ребята! Мы вам не помешали? Олег пригласил посидеть...

Ю р и й. Естественно! Стулья только надо еще.

Ю р и й А н д р е в и ч. Я принесу.

С е р г е й. Давай я лучше. (Выходит из комнаты. Юрий Андреевич, помявшись, выходит следом.)

Ю р и й. Садитесь сюда, Людмила Петровна.

Людмила Петровна. Спасибочки! Давно я вас всех не видела. Только Олега вот...

Юрий. У меня дежурства. Сутки сижу, сутки дрыхну.

Людмила Петровна. Где сидишь?

Юрий. Банк охраняю. (*Взглянув на Анархиста, хохочет.*) От таких вот махновцев!

Анархист. Я старше тебя почти в два раза...

Юрий. У анархистов возраста нет. Ты своим ученичкам про возраст говори.

Входят Сергей и Юрий Андреевич, приносят стулья, рассаживаются.

Людмила Петровна. Может, выключим верхний свет? Торшер оставим. Будто у костра так... Согласны?

Сергей. Да уж, романтика...

Олег. Юрий Андреевич, вам водки?

Юрий Андреевич (*отчаянно, точно кидаясь в ледяную воду*). А, рюмочку давану! Мне завтра ко второму уроку.

Людмила Петровна. Ничего себе! (*Приобнимает мужа и Юрия.*) Я ведь между двух Юриев сижу! Так, загадываю желание.

Пауза, все смотрят на Людмилу Петровну.

Людмила Петровна. Загадала! Продолжаем застолье.

Анархист. Вы, Юрий Андреевич, географию, кажется, ведете?

Юрий Андреевич. Совершенно верно. Правда, в последнее время к истории больше склоняюсь. Настолько загадочная наука все-таки! Вот Корею взять. Ведь у нее настолько древняя история, и она практически не изучена...

Людмила Петровна. Дорогой!

Юрий Андреевич. Извините, увлекся... А Людмила Петровна у нас биолог. Мы в Челябинске, в педагогическом, познакомились и с первого курса — вместе. На распределении сюда попросились. Здесь еще тайга стояла непролазная. Узкоколейку только собирались тянуть. А Люда уже Сережу ждала...

Сергей. Что, пьем?

Анархист. А меня взрослого почти родители привезли. Потом решили домой возвращаться, а я остался.

Сергей усмехается.

Анархист. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме.

Юрий. Ты у нас тут многого добился! Главный идеолог! Советую в мэры избираться. Вот покувыркаемся!

Людмила Петровна (*перебивает*). Ну что ж, ребята, за встречу!

Юрий Андреевич. Юр, у тебя батя-то в этом году на пороги не ездил?

Ю р и й. Нет. Он давно уж забросил. Байдарка в гараже, наверно, сгнила... А вы что, сплавлиались?

Ю р и й А н д р е е в и ч. Людмила Петровна вот не пускает, боится: рассыплешься, говорит, как потом собирать тебя...

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Да езжай хоть сейчас, дорогой.

Ю р и й А н д р е е в и ч. Холодно уже. На будущий год буду планировать...

О л е г *(поднимает рюмку)*. Ну, за будущий год!

Чокаются звонко, бодро. Никто не замечает, что Сергей сидит отдельно от всех, его рюмка на столе. Пьют, дышат, закусывают.

Ю р и й А н д р е е в и ч. Ох, хорошо! Водка все-таки — великая вещь!

Л ю д м и л а П е т р о в н а *(шутливо)*. Ну-ка, не развращай ребят!

Ю р и й. Да мы уж взрослые. Кое-кто не только в шинели походил, а и боевыми стрелял... Огурчики у вас — супер просто!

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Лето удачное. Двадцать банок засолила.

А н а р х и с т. Овощи — это необходимо.

Ю р и й. Дача — дело рискованное. Лучше зарабатывать и на рынке спокойно...

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Я с вами совершенно не согласна!

Ю р и й А н д р е е в и ч. Так-с, а кто у нас разливает?

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Назначаю тамадой самого опытного в нашей компании человека!

Ю р и й. Кого же это?

А н а р х и с т. Ну кто у нас тут лосей валил направо-налево?

Ю р и й. Намек понят — приступаю!

Л ю д м и л а П е т р о в н а. А давайте песню споем хорошую! Я вчера гитару настроила... Сейчас напьюсь и буду петь!

Ю р и й. Так, рюмки полны — поехали.

Л ю д м и л а П е т р о в н а. За все хорошее, ребята! За мир, за согласие!

Свет постепенно гаснет. Звон рюмок, неразборчивые восклицания.

Картина вторая

Площадь перед школой. Над входом в школу — выцветший транспарант «Добро пожаловать!».

По площади прохаживается Т а т ь я н а. Появляется С е р г е й.

С е р г е й. Тань, извини, пожалуйста! Спасибо, что дождалась.

Т а т ь я н а. Знаешь, я не ушла, чтоб сказать, что это хамство чистой воды.

Сергей. Меня вызвали на переговоры. Сидел на телеграфе. Не мог же я не ответить... Москва.

Татьяна (*слегка презрительно*). Очень рада.

Сергей. Тань, не сердись. Я уезжаю завтра. До Тынды, а там — самолетом...

Татьяна. Что могу сказать — молодец.

Пауза.

Сергей. Пойдем куда-нибудь. Ну... В кафе?

Татьяна. Ой, как оригинально! Так необычно, знаешь...

Сергей. Не здесь же стоять, на холоде. Тань!

Татьяна. Никуда я с тобой не пойду. Ты упросил встретиться на десять минут — я пришла. Но десять минут давно кончились.

Сергей. Мы еще и минуты не говорим.

Татьяна. Да я тебя прождала пятнадцать! Так что давай прощаться. Все...

Сергей. Я уезжаю ведь завтра уже. Надолго, наверно...

Татьяна. А я дома остаюсь. Это тебе вечно надо бежать куда-то. Бегун.

Сергей. Я не бегун. Меня пригласило издательство. Книгу хотят издавать. В Интернете нашли, и понравилось... На какую-то премию даже... ну, выдвинули.

Татьяна. Поздравляю!

Сергей. Тань, ну что ты все одно да потому... Ты же ко мне по-другому совсем относилась, Тань. Так ведь у нас хорошо было... Я думал — вот... А, Тань?

Татьяна. С тобой невозможно по-человечески. Или дуешься, или два часа поучаешь. И все у тебя сводится к одному: как мы тут гнием в этом болоте, надо уехать... Может, хоть сегодня не надо? Мне надоело.

Сергей. Да я в курсе, я — зануда. Но... За последние недели многое ведь изменилось! Мои рассказы прочитали в одном издательстве, в Москве, и пригласили туда. Заключить договор, еще там какие-то вещи... Убедиться, что я есть на самом деле... И на премию выдвинули... Смысл теперь хоть какой-то впереди появился...

Татьяна. Поздравляю.

Сергей. Да блин! Опять двадцать пять... Тань, пойдем выпьем кофе. У меня деньги есть. Или вина хорошего. А?

Татьяна. Ой, да какое уж тут вино, в нашем-то болоте? И кофе... Не смехи.

Сергей. Перестань, слушай! Помнишь, как мы познакомились, сидели тут вот на лавочке и не могли расстаться никак? Столько лет рядом была, а увидел в конце только... Так то есть увидел...

Татьяна. Как?

Сергей. Ну как... По-настоящему. Не веришь? Тань, давай так, может быть... Ты закончишь, получишь аттестат, и поедем вместе, поступим вместе куда-нибудь. Ведь как мы друг без друга?..

Т а т ь я н а. Ты так говоришь, будто у нас что-то было. А ничего у нас не было. Ни-че-го. И нечего фантазировать.

С е р г е й. Тань... Давай поговорим нормально. А? Я исправлюсь. Съезжу туда, и все хорошо будет. Посмотрю, успокоюсь. И гонорар обещают за книгу. А в июле вместе поступить постараемся... (*Кривится.*) Блин, еще же армия эта! (*Достаёт сигареты, закуривает.*) А, ладно, Тань, не слушай меня. Все понятно.

Т а т ь я н а. Что тебе опять понятно?

С е р г е й. Что не получится ничего. Фигня все...

Т а т ь я н а. Не отчаивайся, друг мой, надейся на лучшее.

С е р г е й. Злая ты стала какая...

Т а т ь я н а. У тебя научилась. Сам говорил, что нужно быть злым, чтоб в жижу не превратиться. Вот и стараюсь.

С е р г е й. Я же не в этом смысле... Да, говорил. Только злость дает настоящие силы... Говорят, любовь созидательна. Да ну — фигня! Любовь убаюкивает, даже несчастная любовь, безнадежная. Понимаешь, человек все-таки наслаждается своим страданием... И у меня так же последнее время. Вот взял и влюбился. Раньше шагал, кулаки сжимал, видел мир как он есть, трезво, а вот... А теперь люблю и... и, это, и все у меня сместилось. То есть мой взгляд на мир...

Т а т ь я н а. И в кого это ты у нас влюбился?

С е р г е й. Не кокетничай, ты знаешь. Видишь.

Т а т ь я н а (*нараспев*). Люблю ее, но странную любовью... Не надо, Сережа. Так не любят, так грузят. Мне через пять минут общения с тобой жить не хочется. Вот бы кто-нибудь снял тебя на камеру, а потом показал. Тогда бы понял.

С е р г е й. И как мне быть? Тань, что мне делать-то? Я нормально хочу... Подругу хочу настоящую. Таковую, как ты. Семью хочу, детей чтоб... И жить нормально. Тань... (*Собираясь ее обнять.*) Танюш...

Т а т ь я н а. Трахаться ты хочешь, вот и все. И все проблемы.

С е р г е й. А?

Т а т ь я н а. Все, я пойду, короче. Не могу больше. Все! Не обижайся, езжай спокойно. Удачи.

С е р г е й. Нет, стой. Погоди!

Т а т ь я н а (*усмехаясь*). Стою, мой командир.

Пауза.

С е р г е й. Что я тебе сделал, ты можешь объяснить? Столько хотел сказать... До полночи думал, представлял, как мы с тобой вот здесь стоим, говорим. А теперь... Вот вижу, что никакие слова тебе не нужны, да и у меня их теперь нету. Исчезли куда-то все... Пошлые одни только всякие... Казались настоящими, а теперь — противно. Тань, ты поверь только — я теперь совсем другой. Понимаешь? Я одного прошу, ты меня подожди, пожалуйста. Я вот вернусь... В Иркутск уедем, поступим... Давай? (*Пауза.*) Тань, у тебя есть кто-то, да? А, Тань? Если есть, то и закончим весь этот... всю комедию. Ну скажи конкретно — да, нет.

Т а т ь я н а. Никого у меня нет. Но...

С е р г е й (*перебивает*). Тань, ну и давай! Все отлично будет у нас, я чувствую, Тань. Я уверен просто! Теперь, понимаешь...

Т а т ь я н а. Дай мне сказать!

С е р г е й. Что?

Т а т ь я н а (*холодно*). У меня никого нет. Так. Но и с тобой я быть не буду. Не могу я с тобой быть.

С е р г е й. Что такое-то, а? Ведь все же хорошо так было...

Т а т ь я н а. Ничего не было. Хватит. Давай прощаемся. Искренне, Сережа, желаю тебе всего самого. Успехов...

Появляется Ю р и й. Он с сумкой, в черной униформе охранника.

Ю р и й. Здорово, пацаны и пацанки! Как там? «Двое влюбленных лежали во ржи, тихо комбайн стоял у межи...» Воркуете?

Сергей отворачивается.

Т а т ь я н а. Привет. Ты на работу?

Ю р и й. А как же! Денежку охранять, оргтехнику и тэ дэ... Чего кислые-то такие?

С е р г е й. Вот... прощаемся.

Ю р и й. А-а, ты ж валишь опять. Слышал-слыхал! Значит, сбылась мечта идиота? Круто! Прямо в Москву полетишь? Эт самое, кстати, — советую поблагодарить кой-кого.

С е р г е й. В каком смысле?

Ю р и й. Вообще-то одни люди рассказыки твои набирали, другие просили, чтоб в Интернет их засунуть, третьи засовывали.

С е р г е й (*фальшиво*). Да, Юра, спасибо... Большое спасибо.

Пауза.

Ю р и й. В курсе? Анархист тоже сваливать собирается.

С е р г е й (*рассеянно*). И куда?

Ю р и й. Да хрен его знает. Бункер у него ЖЭК отбирает, он разобиделся. Психует... Такая ведь личность! Ну, обычное дело, короче. Псих на психе...

С е р г е й. Это точно... Но лучше психом быть, чем так...

Ю р и й. Как?

С е р г е й. Чем обычным быть, до предела нормальным. Нормально работать, а потом нормально отдыхать. Смотреть футбол, про байдарку мечтать, сериал выбрать по душе и бояться момента, когда он кончится...

Т а т ь я н а. Так, мне пора.

Ю р и й (*взглянув на часы*). Мне тоже. Полчаса до смены. Ох, суточки вахтовать!..

С е р г е й. Что ж, до свиданья тогда. Спасибо еще раз.

Ю р и й. Пожалуйста... Тебе счастливо. Мочи, короче, браток! Покажи им там, что значит — бамовские ребята. Не подкачай, в общем.



Сергей. Постараюсь. Тань, пока?

Татьяна. Пока.

Юрий. Ждем тебя обратно, Серый, на личном «боинге»!

Сергей. Постараюсь...

Юрий и Татьяна уходят. Сергей, проводив их взглядом, закуривает и шагает в другую сторону.

Картина третья

Ресторан. За столом изучают меню Сергей и Полина — женщина немолодая и на первый взгляд совсем несимпатичная, но у нее подвижная мимика, плавные движения. Сергей настрожен, он явно в непривычной обстановке.

Полина. Итак, дорогой Сергей, что будем заказывать?

Сергей. Да я как-то... На ваш вкус, Полина Максимовна.

Полина. Правда? Спасибо... Йя-а... я предлагаю салат с шампиньонами... стейк... Или антрекот? Здесь отличный антрекот.

Сергей. Можно.

Полина. И вино... Знаете, я люблю простое мерло. Вы не против мерло, дорогой Сергей?

Сергей. Я бы лучше водки бы...

Полина. Водки?

Сергей. Маленько...

Полина. Если только маленько... (*Смеется.*) А если серьезно, у нас сегодня очень плотный день. (*Жестом зовет официанта.*) Н-да, очень и очень рада, что вы здесь, что все у нас с вами так хорошо начинается... Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! Ваши рассказы уже произвели впечатление. Пока только, как говорится, в узких кругах, но, судя по всему...

Подходит официант.

Полина. Судя по всему, резонанс будет широкий. Ваши шансы на получение премии — высоки. Все в порядке пока... Но и нам с вами для этого нужно приложить усилия. Вы согласны?

Сергей. Ну да... конечно. Спасибо.

Полина. Вот и замечательно. А пока что выпьем и закусим. (*Официанту.*) Пожалуйста, бутылочку мерло и графинчик «Посольской»... Вот этот, двухсотграммовый... Два антрекота, два, соответственно, салата с шампиньонами и-и... Все пока что.

Официант записывает, кивает, уходит.

Полина. В пятнадцать часов нас ждут в издательстве, а на восемнадцать я назначила интервью для газеты «Суперклуб». Очень читаемая газета у молодежи... Такие планы. Вы не против? Спать не хотите? Все-таки колоссальная разница во времени...

Сергей. В самолете выспался. А что в интервью говорить?

Полина. Смешной вы. (*Внимательно смотрит на Сергея.*) Милый, смешной... Вопрос всегда дает пищу для ответа. Но советую быть побойчее. (*Подняв указательный палец.*) Писатель должен хватом быть. Так-то! Это какой-то мэтр, кстати, сказал.

Сергей. Да, эт точно. (*Пауза.*) А в издательстве... они уже, что ли, точно издавать решили? Настоящей книгой?

Полина. Не только решили, дорогой Сергей, а скажу по секрету — чуть ли не верстка готова. Ждут только вашей подписи в договоре. (*Тянется к Сергею, голос ее становится вкрадчивым.*) Честно говоря, я читала договор, поспорила с ними насчет некоторых пунктов, гонорар полыхмаче отвоевала, проценты с каждого купленного экземпляра. Но советую прямо так сразу не подписывать. Поизучайте, поразмышляйте. Или хоть сделайте вид. Вот... И сама я имею наглость предложить вам... в общем, предложить себя на роль агента. Без агента сегодня, дорогой Сергей, поверьте мне, никуда. Особенно если есть желание быть изданным на Западе. А это в вашем случае — более чем реально.

Сергей. За границей? А где?

Полина. Пока вроде бы — вроде бы! — заинтересовались немцы и, как это ни странно, итальянцы.

Сергей. Неслабо.

Полина. Я тоже так думаю.

Официант приносит заказанное, открывает вино, но Полина жестом останавливает его попытку налить в бокалы. Официант уходит.

Сергей (*глядя ему вслед*). Не позавидуешь...

Полина. Простите?

Сергей. Ну, вот так работать... Лакеем.

Полина. А по-моему, он рад. Постаивай у стойки, следи, кто как кушает, вовремя поднеси добавки. Это не асфальт укладывать.

Сергей. Я бы лучше асфальт.

Полина. А вы философ... Что ж, надо бы, как говорится, выпить.

Сергей наливает Полине вина, себе — водки.

Полина. Итак, за знакомство, за, надеюсь, начало плодотворного сотрудничества! Я лично очень рада, Сергей.

Сергей. Я тоже.

Пьют.

Полина. Знаете, а я ведь бывала в ваших краях. Правда, давно. Ваш город тогда почти весь палаточный был, только клуб, кажется, баня, что-то еще — деревянные.

Сергей. А теперь одни пятиэтажки...

Полина. Я корреспонденткой на радио работала, совсем девчонкой еще, и вот отправили в командировку. Осветить великую стройку социализма. Почти месяц там прожила...

Сергей. И как?

Полина. Что?

Сергей. Ну, это... впечатления?

Полина (*пожимает плечами*). Потрясающе! Такая атмосфера, все как одна семья, все молодые...

Сергей. М-да... Теперь не так.

Полина. Да, я понимаю, что не так... Читала ваши рассказы. Сильные и страшные. Но это правильно. Это необходимо. Так сказать, голос детей романтиков.

Сергей. Что, Полина Максимовна, может, еще? (*Кивает на бутылку.*)

Полина. Конечно! Для этого мы здесь и находимся. Теперь ваш тост.

Сергей наполняет бокал вином, а рюмку — водкой.

Сергей. Да я не особенно в них... Ну, за удачу, наверно, за все хорошее.

Полина. И отлично, отлично, Сергей!

Пьют.

Полина. А вы там родились или раньше? В автобиографии это, кажется, не указано...

Сергей. Там... Девятнадцатый коренной житель города.

Полина. О! У вас каждый новорожденный под своим номером?

Сергей. Тогда мало рождалось... У меня приятель, Юрий, на два года старше, так он четвертый, что ли... Тогда вот еще, говорят, действительно одни палатки стояли. И роддома не было... Мать его хотели в Тынду везти, а она отказалась. Он теперь этим гордится очень...

Официант приносит антрекоты, ставит на стол, уходит.

Полина. Да, Сережа, интересный у вас там мир. Совсем другой мир...

Сергей. Яма какая-то... Выть хочется... Там с тоски все шизанутыми становятся. Одни в пятьдесят всё в комсомольцев-первопроходцев играют, другие какие-то гулаговские лагеря ищут, отец мой вдруг древнейшей историей Кореи увлекся. А, ладно! Знаете, я как раз за месяц до вашей первой телеграммы из дома сбежал.

Полина. Как это?

Сергей. Денег подкопил маленько... Хотел в Новосибирск... Много слышал про Академгородок, про все... И рванул. Доехал, посмотрел и обратно скорей... Это только в фильмах — собирает человек вещички и едет куда глаза глядят, за счастьем. А в жизни...

Полина. Вы кушайте, Сережа, кушайте.

Сергей (*не слушая*). Да нет, вообще-то не только в фильмах. Раньше вот... Родители вот тоже сели и поехали в тайгу свой город строить...

Полина. Нет, Сережа, они не просто так — они по комсомольским путевкам. Просто так, действительно, очень редко счастье можно найти. Кто-то обязательно должен... (*щелкает пальцами*) опекать, что ли. Так? Согласны?

Сергей кивает.

Полина. Давайте, в конце концов, будем есть! Нам нужны силы, дорогой Сергей! (*Смотрит на часы.*) И нужно постепенно уже торопиться. В Москве, Сережа, жить приходится в спринтерском темпе. Иначе... Все, едим, философствовать будем позже!

Сергей неуклюже отрезает кусочек мяса, жует.
Затем наполняет бокал и рюмку.

Полина. Может быть, достаточно?

Сергей. По последней, Полина Максимовна... для аппетита... Волнуюсь я как-то очень.

Полина. Напрасно. Просто ведите себя органично, и все будет о'кей!.. Кстати, гостиница понравилась?

Сергей. Да, спасибо... Крутой номер. (*Поднимает рюмку.*) Спасибо, Полина... Я уже там, честное слово, совсем скисал. Даже и не надеялся... У меня друг, Олег, это он эти мои рассказы в Интернет поместил. То есть не он... У нас там с компьютерными делами целая эпопея. Даже телефонов в квартирах нет ни у кого почти, мобильники не работают — спутниковая связь нужна... И вот Олег... М-м, что-то я с мысли сбился. Ладно...

Чокаются, пьют. Сергей жадно ест, но вдруг резко откладывает вилку.

Сергей. А знаете, как они меня там ненавидят! Вот Юрич, Юрка, который из первых... он, когда мои рассказы прочитал, так рас... расвирепел!..

Полина. Почему? Интересно.

Сергей. Ну как? Написал про него всю правду... и про всех... Вот вы говорите, что это... что другой мир там. Да, Полина Максимовна, это точно. Только... (*Взбалтывает графин, выливает в рюмку остатки водки.*) Страшный это мир такой, ненормальный... Представьте — железная дорога, двадцать тысяч людей в пятиэтажках, а вокруг на триста километров во все стороны тайга сплошная. Волей-неволей шизанешься... И родители вот мои... И ведь понимают, какую глупость сделали, что туда забралась по собственной воле, а вид делают, дескать... Песню про туман всё поют... из последних сил. И все так. Все вид делают. Даже кому сейчас как мне... Никто почти не уезжает. Патриоты, блин... Извините... (*Пьет.*) Свой пединститут этот, филиал то есть, убогий забит, конкурс

бешеный просто, а чтоб в Иркутск рвануть или в Читу... Нет, все почти остаются. Кто уезжает — чуть не предатель... Свой город... И, знаете, Полина Максимовна... Знаете, я вам так благодарен, что вы на меня внимание обратили. Правда, Полина Максимовна! Я ведь чуть как они не стал... Чуть не хряпнулся, когда мне известие ваше передали из Интернета. Ну, что вы меня ищите... Телеграмма потом... Спасибо вам большое... У вас имя очень красивое — Полина. Русское такое...

Полина. В Москве здесь, я заметила, вообще как нигде много Иванов, Василиев, Маш, Польш. Не знаю даже, почему так.

Сергей. А у нас сплошные Сани, Юрии, Наташи, Тани. СерегИ вот. *(Усмехается.)* Что ни рожа — то Сережа...

Полина *(глянув на часы, подзывает жестом официанта)*. Сергей, нам, к сожалению, пора идти. Я тоже очень и очень рада, что вас встретила... Мы еще с вами, надеюсь, наговоримся. *(Улыбается.)* Верно?

Сергей. Конечно, Полина Максимовна, конечно. Наверно... Спасибо!

Подходит о ф и ц и а н т.

Полина. Два стаканчика минералки и счет, пожалуйста.

Картина четвертая

Часть большого зала. Край стола, облепленного людьми — в основном пожилые крупнотельные мужчины и тонкие, достаточно молодые женщины. Несколько в стороне, у стены, с бокалом вина стоит Сергей. К нему подходит Полина с бокалом вина и тарелкой с бутербродами.

Полина. Подкрепитесь, Печорин. Вы еще нужны мировой литературе.

Сергей. Не надо, Полина Максимовна, зазнаюсь. Хотя чего зазнаваться... *(Берет бутерброд.)*

Полина. Да бросьте переживать! Ваш проигрыш лучше победы. Ведь всего голоса не хватило... И кому проиграли? По-та-по-ву! Он тридцать лет у всех на устах, тридцать лет упорно шокирует, да и *(говорит тише)* ему умирать скоро, в конце концов, — надо ведь заслуги отметить... А у вас, дорогой, такое будущее! У вас только все начинается.

Сергей. Хм... да...

Полина. Я вам гарантирую. Мы с вами такое устроим! Кушайте, Сережа, с чистой совестью. Кушайте и пейте. Сегодня можно.

Сергей. А вот я спросить хотел. Как я с этими, с журналистами, нормально им говорил?

Полина. Отлично все... Только, советую на будущее, надо похлеще быть, не стесняться. Здесь бойких любят.

Сергей. М-да, понятно... *(Ест бутерброд, запивает вином.)*

Подходит Олег Алексеевич.

Олег Алексеевич. Приветствую, Полина Максимна!

Полина. Добрый вечер, добрый вечер, Олег Алексеевич!

Олег Алексеевич. Полина Максимна, не могли бы познакомиться меня с нашим юным мэтром?

Полина. С удовольствием! (Сергею.) Олег Алексеевич Бутыгин, известный писатель.

Сергей (оживляясь). Да-да, знаю, здравствуйте!

Полина (Олегу Алексеевичу). Сергей Толокнов...

Олег Алексеевич. Рад познакомиться! Поздравляю!

Сергей. Да вроде как не с чем...

Олег Алексеевич. Ну, как это не с чем! Вы здесь главный герой. Все только о вас и шепчутся. А подойти боятся! Очень, говорят, серьезный юноша.

Сергей (усмехается). Да я просто...

Полина (перебивает). Он у нас такой! Теперь держитесь, Олег Алексеевич! Вот выйдет книга...

Олег Алексеевич. Уже и книга? Быстро это все нынче делается. Ну и хорошо, и правильно. В нашу-то молодость, пока до книги дело дойдет, три шкуры сдерут. Уж и не рад ничему. И в журналы как пробивались! А теперь... Нет, правильно — пусть печатают все что есть, а там или разносят, или перевозносят. Я прав?

Сергей. Не знаю, я раньше не жил.

Олег Алексеевич (смеясь). Отличный ответ! Отличный! Так держать, Сергей, ни с кем так просто не соглашайтесь. (Шумно отпивает из бокала.) Вы, я слышал, издаека?

Сергей. С Забайкалья...

Полина. Сын первопроходцев БАМа...

Олег Алексеевич. А я ведь тоже совсем-совсем не отсюда. Тоже ведь какой-никакой, а сибиряк.

Полина. Правда? Мне казалось, вы всегда жили в Москве...

Олег Алексеевич. Ну что вы, какой из меня москвич... Стопроцентный омский валенок. Маленько только пообтершийся. Ха-ха! В двадцать два года, уж после армии, сюда приехал. В Литинститут поступил. Да-а... На поэзию, кстати!

Полина. Шутите, Олег Алексеевич!

Олег Алексеевич. Представьте себе. Не сразу я на прозу решился, не сразу. Сперва жизнь поглядел, созрел, наглости поднабрался. А теперь... Вроде и дети совсем, а вот — гляди-ка! И правильно, правильно, Сергей, держайте. И ничего не бойтесь. (Поднимает бокал.) Ну, за вас, за ваши новые творческие успехи!

Сергей. Спасибо.

Полина. Полностью присоединяюсь.

Сергей. Спасибо.

Чокаются, пьют. Пауза.

Олег Алексеевич. Ну, ладненько. Пойду, с вашего позволения, дальше.

Полина. Увидимся.

Олег Алексеевич (*философски*). Как карта ляжет, Полина Максимна... Как уж карта ляжет. (*Неспешно удаляется.*)

Полина (*Сергею*). Ну как?

Сергей. А?

Полина. Как вам здесь? Как вообще от церемонии ощущение?

Сергей. Да не знаю пока. Но как-то... немного как-то смешно... Я, честно говоря, по-другому все это представлял.

Полина. Литературная среда всегда была, Сережа, очень хорошей пищей для сатиры. Бунин, вспомните, хлеще Зоценко становился, когда писал о литераторах, об их отношениях... Вообще, это ведь театр своеобразный. (*Кивает в сторону стоящих вокруг стола.*) И, знаете, тут роли настолько четко распределены — любой бы режиссер позавидовал... И каждый дает те реплики, какие от него ждут, на какие он кем-то там запрограммирован. Извините, я сумбурно выражаюсь. Но вы понимаете, о чем я?

Сергей. Кажется, да.

Полина. И вот знаете почему никто, например, из журналов к вам не подходит, а ведь после такого успеха, кажется, должны бы наперебой просить у вас рассказы?

Сергей. Почему? Я ведь за журналами пытаюсь следить, даже хотел послать вещи в один, а потом передумал. Решил — наверняка ведь откажут.

Полина. И отказали бы, стопроцентно отказали, если бы так получили, по почте. Ни с того ни с сего. А сейчас им очень хочется вас напечатать, даже если они и не читали еще... Ведь сенсация — мальчик, восемнадцать лет, а вошел в финал такой премии громкой, на голос всего Потапову уступил. Ни одной публикации, только рукопись. Фантастика, правда? Но, понимаете, Сережа, у вас уже роль писателя, не связанного с журналами. Вот они ждут теперь, когда книга выйдет, чтобы хоть критические статьи напечатать, оценить ее... Знаю, согласятся, что вы, мол, открытие, но в целом обругают.

Сергей. За что?

Полина. Хм, а вас не за что ругать, дорогой? Разнесли в пух и прах поколение нынешних сорокалетних, последних советских романтиков, к коим, кстати сказать, и я себя отношу, свое поколение показали вон как. Вообще какую-то невозможность жизни нарисовали...

Сергей. Это да... (*Крутит в руке пустой бокал.*) Пойду еще, может, налью... Или водки? Можно?

Полина. Теперь можно. Только сильно, пожалуйста, не напивайтесь.

Сергей. Да я как-то...

Полина. Шучу, шучу, Сережа! Мне тоже возьмите красненького.

Сергей берет у Полины бокал, уходит. От тех, что облепили стол, отделяется

Григорий Владимирович — невысокий сухощавый мужчина.

Подходит к Полине.

Григорий Владимирович. Здравствуйте, дорогая моя!

Полина. А я все смотрю, как вы на меня глазами своими пронзительными стреляете, думаю, когда же подойдет? И вот — сбылось!

Григорий Владимирович. Как я мог? Ведь вы не одна! Поздравить вас хочу с таким приобретением. Всколыхнули на славу!

Полина. Мы, скажу по секрету, еще только в начале пути.

Григорий Владимирович. Неслабое, надо признать, начало. М-да-с... Жаль только, что книга еще не вышла.

Полина (*слегка улыбаясь*). Не знаю, не знаю. Может быть, и наоборот. Нет, не пытайте, не могу вам сказать. Это уже из сферы бизнеса. Понимаете?

Григорий Владимирович. Ясненько... (*Смотрит в ту сторону, куда ушел Сергей.*) Ладно, я вас покину, дорогая Полина Максимовна. Не буду утомлять.

Полина. Вы очень любезны, Григорий Владимирович. Спасибо! Надеюсь, скоро увидимся.

Григорий Владимирович. Куда ж мы денемся! Узок круг, как говорится... (*Целует Полину в щеку и уходит.*)

Подходит Сергей с бокалом и рюмкой.

Полина. О, чудесно, дорогой Сергей!

Сергей. Давайте выпьем.

Полина. С удовольствием. За что?

Сергей. Да давайте просто так.

Чокаются, пьют.

Сергей. Все-таки тяжело как-то здесь. Вроде бы ничего, а вот как-то...

Полина. Привыкайте, Сережа, закаляйтесь.

Сергей. А кто это подходил сейчас?

Полина. Когда?

Сергей. Ну вот когда я отходил.

Полина. А это, так сказать, представитель конкурирующей стороны. Издатель. Поздравил меня с удачным приобретением, то есть с тем, что вас нашла. Завидует. Что же, надеюсь, не напрасно. Выпьем, Сережа, за первый блин! Уверяю вас — он не комом.

Пьют.

Сергей. Полина Максимовна, спросить хотел...



Полина. Все что угодно, мой дорогой.

Сергей. А вон что это за парень там? Вон тот.

Полина. Какой?

Сергей. Ну вон, в черном свитере стоит. С сумкой такой...

Полина. А, этот... Это Венин. Прозаик... Начал, кстати, очень ярко, со всех журналов, потом книга за книгой... Он тоже откуда-то почти из ваших краев... Но, понимаете, Сережа... Как бы это объяснить?.. Пишет по-прежнему много, печатают тоже, а результат... Таких очень много сейчас. Да пожалуй, девять десятых. Раз в год в двух-трех толстых журналах рассказы, повестушки, еще по мелочам, книга, а резонанс — нулевой практически. И этот теперь такой же. Начал чуть не скандално, даже побили его за один рассказ... Что-то там про то, как он, то есть герой его рассказа, соглашается любимую девушку — но она его не любит — изнасиловать с приятелями. Нечто такое... И какие-то ребята прочитали, возмутились. Побили Венина. Да-а... Ну а теперь вот... Ему лет тридцать... Теперь по фуршетам ходит, в жюри его приглашают, на ток-шоу поговорить. Короче, в обойме товарищ.

Сергей. А это плохо?

Полина. Ему, может быть, и очень хорошо, а с точки зрения имени... *(Приглядывается.)* И брюшко уже неплохое себе нагулял... Понимаете, дорогой Сергей, настоящий писатель должен, просто обязан быть бунтарем. Провокатором, если хотите. Всем симпатичных писателей не бывает. Он всегда раздражает, колет даже друзей... У Синявского хорошо про это написано. Не читали?

Сергей. Нет, Синявского не читал. *(Допивает водку.)*

Полина. Я найду, покажу. Вам должно понравиться. По меньшей мере — полезно. Да вы не задумывайтесь пока! Вы пока еще в зачаточном состоянии... Хотя имидж советую уже сейчас выбрать.

Сергей. Имидж... А какой?

Полина. Лучше всего сохранять сегодняшний. Может, еще чуть грубей казаться и неотесанней. Здешним людям представители народных толщ нравятся. Только нельзя переигрывать — отвернутся.

Сергей. Сложная задача.

Полина. Что ж, среди людей жить вообще нелегко.

Подходит Гутман — высокий мужчина лет шестидесяти, седые волосы собраны в хвост, на шее фотоаппарат, в руке бокал.

Полина. О, Гутман! А я ведь замечала, как вы всё на нас своими профессиональными глазами смотрите! Когда же, гадала, подойти соизволит? И вот — чудо! — дождалась.

Гутман. Вы заставляете меня покраснеть, очаровательная Полина!

Полина. Сразу знакомьтесь. Сергей Толокнов...

Гутман *(пожимая руку Сергею)*. Очень рад!

Полина. Гутман Отс, без преувеличения лучший отстрельщик пишущей братии.

Гутман. Сегодня отстрелял всю память. И большая часть — на вас.

Сергей. Очень приятно. Спасибо.

Гутман (*поднимает бокал*). Буду считать за честь соединить стекло!

Полина. С радостью.

Сергей. У меня, извините... (*Переворачивает свою рюмку*.)

Полина. Сходите. И мне тоже красного... Только, пожалуйста, Сергей, без промедлений. Пока пыл не пропал.

Сергей уходит.

Полина. Ну, Гутман, расскажите, как дела? Всюду вижу ваши произведения. Что ни фото литературное, обязательно сбоку — «Гутман Отс». Вы прямо нарасхват, дорогой.

Гутман. Потихоньку, Полина, движемся...

Полина (*укоризненно*). Гутман! Что-то вы совсем орусячились! Что это за «потихоньку»? Где ваш объективный немецкий взгляд на действительность? Знаменитая прагматичность?

Гутман. Боюсь сглазить.

Полина. Ое-е-ей! Гутман-Гутман... А Сергей вот...

Подходит Сергей.

Полина. Сергей вот скоро станет известен и в вашей родной Германии. Параллельно выходит его книга и там. В Кельне.

Гутман. О, рад! Сергей, если не сложно, я бы хотел спросить — вы читали произведения господина Потапова?

Сергей (*слегка растерянно*). Это которому сегодня премию дали?

Полина. Ну да, да, Сережа.

Сергей. К сожалению, не получилось... У нас там вообще с новыми книгами не очень. Даже книжный магазин в «Хозтовары» переделали. А в журналах ведь он не печатался?

Гутман. Кажется, нет... (*Пауза*.) И неужели, Сергей, новых книг там, в... в Забайкалье, нет?

Сергей. Ну, так... почти — да.

Гутман. Кошмар.

Полина. А по-моему, в этом есть и положительная сторона. Как бы это поточнее сказать... Понимаете, многих писателей, и состоявшихся, и потенциальных, губит груз того, что было создано до них. Они боятся или повториться, или наоборот — попадают под чье-либо влияние и в итоге себя теряют. Губят в себе искренность, непосредственность изначальную. Понимаете? Что-то, в общем... Ха-ха! Я опьянела. Несу всякое...

Гутман. Нет-нет, Полина, вы, кажется, очень правы! Непосредственность — это да! Я встречал такое: «наскальное письмо». Сейчас появилось новое «наскальное письмо». Все с начала. Я прав?

П о л и н а. Да, Гутман, милый, именно это я и хотела выразить. Как вы образно... Спасибо!

Г у т м а н. О, не стоит. Но у меня просьба. Я желал бы, Сергей, отснять еще несколько кадров. Где бы вы один. Портрет. Я не смог уловить на церемонии. Вы согласитесь? Там, в зале?..

С е р г е й. Да я как-то... Как-то не умею позировать.

Г у т м а н. Нет, не надо позировать! Не это. Как сказала Полина — непосредственность.

П о л и н а. Вот, будьте непосредственны, дорогой Сережа. Это лучший имидж! Беспроигрышный!

С е р г е й. Ну, можно, наверно...

Г у т м а н. Несколько кадров. Пойдем?

П о л и н а. Пойдем. *(Берет Сергея под руку.)* Скажу по секрету, Сережа, если Гутман положил на тебя глаз, это очень много значит!

Г у т м а н. Не верьте, Сергей, я простой фотограф. Я пробую удачно фиксировать. Впрочем... Я очень желаю сделать ваш портрет.

П о л и н а. Гарантирую, вы, Сережа, выберете именно фотографию Гутмана для первого тома собрания сочинений. Он лучший.

Г у т м а н. Вы заставляете меня краснеть, дорогая Полина.

С е р г е й. Да уж, собрание сочинений...

П о л и н а. Нет, правда! Гутман — мастер высшего пилотажа! Ой, держите меня, Сережа, что-то я действительно сегодня... Совсем расслабилась... Ну и пусть, пусть Полина Максимовна будет сегодня пьяна. Можно? А, Гутман, скажите?

Г у т м а н. Можно. Иногда очень можно.

П о л и н а. Я тоже так думаю... Слушайте, Гутман, мы с Сергеем... Мы устроим... Нет, и не надо ложной скромности... Все отлично, Гутман милый, отлично... Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, чтоб не сглазить.

Уходят.

Картина пятая

Комната Сергея. Единственное изменение по сравнению с первой картиной — письменный стол по центру. На нем вместо лампы, книг — скатерть, тарелки. Входит Л ю д м и л а П е т р о в н а, держа блюдо с гусем, вслед за ней С е р г е й с бутылками.

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Почему не в зале, не понимаю! Здесь тесно, во-первых...

С е р г е й. Нас будет четыре человека всего. Вы и я с Олгычем. Нормально.

Л ю д м и л а П е т р о в н а. А Губины? И Юра обещался зайти.

С е р г е й. Зачем он еще?

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Встретила, пригласила. Вы же с ним вроде друзья...

С е р г е й. Мам, я хочу здесь. Здесь уютней.

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Вечно все не как человек... *(Уходит.)*

Сергей расставляет посуду, затем подходит к карте на стене. Разглядывает ее, медленно переходит к стеллажу. Голос Людмилы Петровны: «Серез, возьми вот салат отнеси! Хлеба еще надо нарезать...» Сергей выходит. Возвращается с глубокой тарелкой. Пытается уместить ее на столе.

С е р г е й. На фиг вообще... Фуршеты, блин... *(Берет со стеллажа какую-то книгу.)*

Голос Людмилы Петровны:
«Господи, а хлеба-то! Серез, сбегай, а? Слышишь?»

С е р г е й. Слышу! *(Ставит книгу на место, идет к выходу из комнаты.)*

Голос Юрия Андреевича: «Да я схожу, Люд. Все равно мне делать нечего».
Сергей резко отворачивается от двери, плюхается на диван. Вздыхает.

Ю р и й А н д р е е в и ч *(заглядывая в комнату)*. Ты тут матери помоги, да и... Отвык уже от дома-то?

С е р г е й. Ну, так, слегка.

Ю р и й А н д р е е в и ч. Еще бы — три месяца по Европам. Нет, ты, брат, молодец! Ладно, я пошел. Обвыкайся. *(Скрывается за дверью.)*

Сергей проходит по комнате, берет что-то с тарелки, бросает в рот. Снова останавливается перед стеллажом. Входит Л ю д м и л а П е т р о в н а с тарелкой. Ищет место, куда ее поставить.

С е р г е й. Наверно, хватит, мам. И так вон...

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Чего хватит? Ничего нет почти. Стол просто крошечный. Не вздыхай, ради бога! У нас с отцом лично праздник все-таки.

С е р г е й. Праздник... Уехал, теперь приехал. Так, посидим спокойно.

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Как это — уехал-приехал? Книжки привез, деньги какие! Мы с отцом таких за всю жизнь и в руках не держали, а ты вон за раз! И, пожалуйста, не мешай нам. Отметим как следует, как положено.

С е р г е й. А как это — положено?

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Как людям.

С е р г е й. Ой, блин, прямо «Маленькая Вера» какая-то!

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Знаешь что? Этот фильм, к твоему сведению, появился, когда мне самой было лет двадцать. Нет, больше уже... Но не в этом суть... Когда я первый раз его посмотрела, мне тогда эти Верины родители такими дебилами показались. Мать особенно...

А тут недавно снова увидела и удивилась даже — теперь я родителей понимаю, сочувствую им, а молодежь, Верин муженек этот, — бесят. Не то что я на их стороне, но я их искренне понимаю. Родителей.

Сергей. Может, и я через двадцать лет стану так же.

Людмила Петровна. Вот я это и имею в виду. Пора, Сережа, становиться терпимее к людям.

Людмила Петровна выходит. Раздается звонок в дверь.
 Сергей смотрит на часы.

Сергей. Олегычу вроде рано...

Сергей направляется к двери, но, не доходя, разворачивается, бродит по комнате. Входит Юрий.

Юрий. Здорово! Ты когда приехал-то? Поездом? Мне мать твоя сегодня утром сказала. С работы вот отпроситься пришлось — уговорил напарника еще сутки подежурить. Потом придется двое торчать. (*Оглядывает стол.*) Четко! На сколько назначили?

Сергей. В семь часов.

Юрий. Отметим по полной! В курсе про Анархиста-то?

Сергей. Что?

Юрий. Ну повесился.

Сергей. Как?

Юрий. Так... на веревке... У себя дома... Давно уж, с месяц назад. Понял, наверно, все.

Сергей. Нет, правда, что ли?

Юрий. Ну да. Я подробностей не знаю, мне как-то неинтересно. Олегыч должен в курсе быть.

Входит Людмила Петровна, озабоченно осматривает стол.

Юрий. Просто обалдительный стол, Людмила Петровна. А это курица, что ли, такая?

Людмила Петровна. Гусь. Сережа утром на рынок сходил, две такие сумищи принес — неподъемные. Даже кровати зачем-то.

Юрий. Круто! Вот видите — и кормильцем стал. (*Шутливо бьет Сергея в плечо.*) Молодец! Много денег-то огреб? Колись, Сергулек.

Сергей. Нормально... Домик присмотрел в Баденвайлере.

Юрий. Чего?

Сергей (*серьезно*). Домик, говорю, в Баденвайлере купить собираюсь.

Юрий. Где домик?

Сергей. Курортный город есть такой в Альпах. Маленький, очень красивый. Чехов там умер.

Пауза.

Ю р и й. В натуре, что ли?
С е р г е й. Что — в натуре?
Ю р и й. Ну, это, про домик?
С е р г е й. Ну а что... Гонорар вот заплатят за итальянское издание, и буду, наверное, приобретать... Вилла такая скромная, рядом красные виноградники.

Юрий ошалело смотрит на Сергея, потом — на Людмилу Петровну.

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Да он шутит... Какие виллы... Так (*оглядывает стол*), что еще? Сейчас еще хлеб, соль. Водка в холодильнике...

С е р г е й. Вот да — надо бы выпить по капле.

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Вы выпейте, а я там пойду проверю. Салаты не щиплите только. Ветчиной закусите вот. (*Уходит.*)

С е р г е й. Надо бутылку принести. (*Уходит.*)

Ю р и й. Хм, вилла, красный виноград... Крутой чувак... (*Проходит по комнате, напевает.*) Кру-уть... му-уть...

Возвращается С е р г е й с бутылкой водки.

С е р г е й (*наливая водку*). Давай, за встречу.

Ю р и й (*без энтузиазма*). Давай.

Чокаются, пьют стоя, закусывают.

Ю р и й. Нет, ты серьезно про виллу-то или стебаешься?

С е р г е й. Я пошутил. Давай Анархиста помянем. (*Наливает водку.*)

Ю р и й. Не хочу.

С е р г е й. Как хочешь. (*Выпивает.*)

Пауза. Оба смотрят на стол. Звонок в дверь.

С е р г е й (*облегченно*). Во, гости. Надо встретить. (*Уходит.*)

Юрий прохаживается по комнате, видит лежащую на диване книгу.

Берет ее в руки. Разглядывает.

Ю р и й. Ни хрена ж себе ему книгу забацали! На такую, в натуре, можно виллу купить. (*Читает по складам.*) «Зон-нтаг-мор-ген. Абер ез зинд шен филе ляй-те унтер... унвер-вейгз»... Немецкий язык... Н-да, за какие-то три месяца окрутел. Как в кино.

Входит С е р г е й.

Ю р и й. Да, Серый, четко. (*Покачивает книгу на ладони.*) А сколько, если не секрет, заплатили все-таки?

С е р г е й. За эту? Почти пять тысяч.

Ю р и й. Долларов?



Сергей. Евро.

Юрий. Нормал... Евро — оно же дороже, чем доллар?

Сергей. Ну, вроде... Ладно, все, фиг с ней. Губины пришли.

А Олегыч что-то... (Смотрит на часы.)

Юрий. Слушай, Серег, а покажи?

Сергей. Что показать?

Юрий. Ну, эти, евро.

Сергей. Да потом. Гости же...

Юрий. Да не бойся, не отберу. Интересно просто.

Сергей. Ну, блин, что мы, сейчас их будем раскладывать здесь? Потом, ладно? (Берет в руку бутылку.) Давай еще по одной, пока они там.

Юрий. Не хочу я пить. (Кидает книгу на диван.) Окрутел ты, Серег. Евро-фигевро, Германия, Баден... Полный нормал, короче...

Сергей. Кончай ты, а? (Наливает водку в рюмки.) Давай пей, Юрич.

Юрий. Да нет, я всех дождусь.

Сергей. Хрен с тобой. (Пьет.) Ничего я не округел. Наоборот. Наоборот совсем.

Юрий. В каком опять смысле?

Сергей. Да, блин... Каким-то себя почувствовал... Вот артистов, певцов взять, даже писателей известных... Смотришь на них по телевизору — все вроде нормально. Выступают. А потом... Ну, вот... я как-то Киркорова на улице увидел. Совсем не человек. Кукла такая двухметровая идет... Понимаешь?

Юрий. Не очень... И что?

Сергей. И я, короче, себя таким начинаю чувствовать... По телику меня показывали... Посмотрел — охренел. Тоже кукла как...

Юрий. С жиру беситься ты начинаешь. Эт точно.

Входят супруги Губины и родители Сергея. У Людмилы Петровны тарелка с хлебом, у Юрия Андреевича — бутылки.

Губина (улыбаясь). Можно?

Людмила Петровна. Так, рассаживаемся. Извините, что тесновато, это виновник торжества так пожелал. Чтоб в его рабочем кабинете...

Сергей. Мам, хорош! Садитесь, пожалуйста.

Губина. Ну и стол! Ну и сто-ол!

Губин. Да-а!

Рассаживаются.

Людмила Петровна. Олега только нет еще. Что, будем ждать или начнем?

Сергей. Начало восьмого. Надо начинать... Так, кому что? Водка, вино...

Губина. Мне вино!

Людмила Петровна. Я бы водочки, но боюсь...

Губин. Я тоже вина. Завтра тяжелый день.

Сергей разливает вино, затем водку.

Губина. Это у вас не гусь ли?

Людмила Петровна. Гусь, гусь! Сережа купил на рынке...

Ой, он остыл уж, наверно!

Сергей. Пап, ты водку?

Юрий Андреевич. Не откажусь! Юрий, как дела ваши? Там же все, в банке?

Юрий. Так точно. Сутки сижу, сутки сплю. Сегодня подменился, пришел Серегу поздравить. И вас!

Людмила Петровна. И очень хорошо сделали! Ведь вы, я знаю, Сереже сильно с рассказами помогли...

Юрий. Да ну что вы! Так... Олег — это да! Он...

Людмила Петровна (*перебивает*). Олег вообще замечательный парень! (*Губиным*.) Вы же Олега Тишкова знаете? Светы Тишковой сын...

Губин. Конечно!

Губина. И Света тоже удивительная просто!

Губин. Позвольте мне озвучить первый тост. (*Коротко откашливается*.) Я бесконечно рад, что нахожусь сейчас здесь и по такому поводу. Сергея я знаю, что называется, с пеленок. В машинки играли, из пластилина солдатиков лепили. Но все это в прошлом. Сегодня мы чувствуем молодого писателя, и не просто молодого, а уже, в мгновение ока, ставшего известным и в Москве, и в Европе. Я рад не только за него, за его уважаемых родителей, но и за весь наш город. Наш юный по меркам мировой истории город! Вот каких мы здесь растим сыновей! За это и выпьем!

Юрий. Ура!

Чокаются, пьют, закусывают.

Людмила Петровна (*мужу*). Юр, поломай гуся, пожалуйста. Вот салфетки держи.

Юрий Андреевич. Е-е-ех! (*Рвет гуся на куски*.) Феодалом в замке себя чувствую.

Губин. Давай, давай! Очень впечатляет. Попируем.

Людмила Петровна. Сереж, книжки-то покажи.

Сергей. Да ладно, потом...

Губин. Чего это — потом? Давай, Сергунь, показывай. Действительно, тосты, вино, а результата нет под рукой. Ну-ка!

Сергей встает, берет одну книгу с дивана, ищет другую.



Людмила Петровна. А, вторая там у нас, в зале! Сейчас.
(*Вскакивает и уходит.*)

Сергей. Вот эта на немецком.

Губин. У-у!

Губина. Красота!

Юрий Андреевич. Даже закладка, глядите, есть.

Губина. Атласная!

Губин (*читает*). «Ам энде дер вэльд»... Как это перевести?

Сергей. «На краю света» примерно...

Людмила Петровна приносит книгу.

Людмила Петровна. Вот! Мы уже с Юрой читать начали...

Губин. А нам-то дадите?

Юрий Андреевич. Конечно! (*Вытирает руки.*) Жалко, что один экземпляр всего. В библиотеку бы надо...

Сергей. Да нечего там читать особенно. Чернуха такая.

Губин (*бодро*). Ну и что, что чернуха? Сегодняшние реалии этому способствуют. Что ж...

Людмила Петровна. Так что, наполняем посуду? Мне хочется выпить за Полину Максимовну...

Губин. А кто это?

Людмила Петровна. Это Сережин литературный агент. Без нее бы...

Юрий (*берется за бутылку*). Людмила Петровна, назначьте меня тамадой. У меня чутье, когда момент...

Людмила Петровна. С радостью, молодой человек! (*Оглядывается, всплескивает руками.*) Господи, да я же опять между двух Юриев! Одно желание у меня уже сбылось. Загадываю новое. (*Закрывает глаза.*)

Губина. Правда сбылось?

Звонок в дверь.

Сергей. Олегыч... (*Выходит.*)

Людмила Петровна. Нужен еще стул. Тарелка, вилка есть... Юра, стул принеси, который под швейной машинкой тот...

Юрий Андреевич выходит.

Губина. Люд, а правда сбылось желание?

Людмила Петровна. Представляет!

Юрий. Извините, но лучше не рассказывать. Я где-то слышал, что сны, желания нельзя рассказывать. А то не исполнятся.

Людмила Петровна. Да? А я и не знала. Все время рассказывала всем.

Ю р и й А н д р е е в и ч приносит два стула.

Г у б и н а. А это что за салат такой? Оливье?

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Оливье, оливье! А вот крабовый...
Ю р, зачем два стула-то?

Ю р и й А н д р е е в и ч (*тихо*). Олег с Таней пришел.

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Ой, и что?!

Ю р и й А н д р е е в и ч. Не знаю, раздеваются там...

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Как же мы тут рассядемся? Говорила
ведь — в зале!

Г у б и н. В тесноте, да не в обиде... У меня еще, для справки, тост
созрел.

Г у б и н а. По этому делу ты у нас специалист, дорогой. Это мы все
знаем...

Входят С е р г е й, Т а н я и О л е г.

Л ю д м и л а П е т р о в н а. Нет, все, надо в зал. Это невозможно.

Ю р и й А н д р е е в и ч. Выпьем сначала, а потом подумаем. Чей
тост?

Г у б и н. Опоздавшего!

О л е г (*у него в руках уже и рюмка, и книга; он разглядывает об-
ложку*). Да... Что же... Рад, что так получилось. Быстро так и хорошо...
Я всегда знал, что Сергей такой... что он сможет... Молодец, Сережка!
(*Чокается с ним.*)

Г у б и н. Сбивчиво, но очень искренне!

Чокаются, пьют, закусывают.

Л ю д м и л а П е т р о в н а. А теперь — переезжаем! Быстро, по-
комсомольски. Каждый берет свой прибор и еще что-нибудь и несет в
зал... Юра, беги раздвигай стол! Вещи там на сервант...

С е р г е й. Мам... (*Отмахивается.*) Ладно... (*Смотрит на Таню.*)
Как дела?

Т а т ь я н а. Хорошо. А у тебя?

С е р г е й. Тоже. Я тебе подарок привез.

Т а т ь я н а. Да? Спасибо.

Действительно, стол очень быстро становится пустым. Шум, восклицания,
звон посуды теперь слышны за дверью. Сергей и Таня вдвоем.

С е р г е й. Я о тебе каждый день там вспоминал.

Т а т ь я н а. Где?

С е р г е й. Ну, в Москве, в Германии... В Германии почти полтора
месяца проторчал. Чтения были. От Берлина до Мюнхена... все крупные
города.

Т а т ь я н а. И как там?

С е р г е й. Да не знаю... Как-то игрушечно все, как в детском садике.

Татьяна. Так же легко?

Сергей. Нет, не то... В детском саду же... там ведь не очень все хорошо... легко. Скорее — просто. Распорядок, прочее... И у них тоже вроде того. Такая жизненная колея...

Татьяна. Понятненько... Что, пойдём?

Сергей. Давай лучше тут посидим маленько...

Татьяна. А удобно?

Сергей (*улыбается*). Мне — да.

Заглядывает Олег.

Олег. Пойдемте, там вас ждут.

Сергей. Олегыч, принеси выпить. Мы тут пять минут буквально. Скажи... Ладно?

Олег пожимает плечами и скрывается за дверью.

Сергей. Как-то давят эти застолья... фуршеты. Тебя Олег прийти уговорил? Я и подумать не мог...

Татьяна. Встретились, предложил. А что, не надо было?

Сергей. Не кокетничай.

Входит Олег с бутылкой водки, тарелкой, рюмками.

Сергей. Класс! Спасибо! (*Разливает водку.*) Как долго мечтал выпить с вами так вот. Давайте, друзья!

Татьяна. Это водка?

Сергей. Выпей, Тань. От рюмки одной-то что?

Татьяна. Я ее не пила никогда... Сильно жжется?

Сергей. Нет, это хорошая. Главное, как выпьешь — выдохни всей грудью. Прямо так — х-ху!

Татьяна. Зачем?

Сергей. Пары сразу выходят. А текилу принято лимоном закусывать. Тоже сразу отшибает...

Олег, видя, что на него не обращают внимания, уходит.

Татьяна. А ты пил?

Сергей. Текилу? Ну да, приходилось. И граппу. Это итальянская водка... как самогон... А суши... то есть sake — противное. Его теплым пьют. Зато суши — вкусно...

Татьяна. Ну ладно, давай уж нашего. Водочка, колбаска.

Сергей. Давай. (*Оглядывается на дверь.*) Спасибо, Танюш, что вдруг так ты здесь оказалась. Как в сказке. Честное слово.

Чокаются и пьют. Татьяна громко отдыхивается.

Сергей. Закуси скорей! Все хорошо. Молодец!

Татьяна. Фу-ф-ф! Ну и... ну и гадость...

Сергей. ...эта ваша заливная рыба. Закуси. *(Берет книги с дивана.)* Вот книжки вышли. Наша и вот на немецком.

Татьяна. Красивые. И так быстро... Еще вчера, кажется, стояли с тобой возле школы, когда только все у тебя начиналось, и вот... Нет, правда молодец, Сереж...

Сергей. Спасибо. Но сейчас быстро книги делают. Могут и за две недели отпечатать... *(Наполняет рюмки.)* Это раньше, говорят, годами ждали. Цензура, набор ручной, такое всякое... Тань, слушай, я тебе предложить хочу. Только отнесись серьезно! А поехали в июле в Кельн? У меня там чтения намечаются, и у тебя экзамены как раз кончатся. А? Знаешь, как там красиво! Собор громадный, вообще...

Татьяна. В институт начнутся...

Сергей. А, экзамены... Ну, окно все равно же будет... Теперь визы такие, что во все страны Европы можно спокойно ездить... В Париж сгоняем.

Татьяна *(усмехается)*. Париж... А ты был?

Сергей. Нет, в Париже не был еще. В Рим летал: договор там на книгу заключали. Германию всю объехал... А в Париж надо с любимой. Обязательно, Тань. *(Поднимает рюмку.)* За исполнение планов!

Татьяна. Ну как я...

Сергей подает Татьяне рюмку. Пьют. Татьяна скорее закусывает.

Сергей. Это все очень легко, оказывается. Даже странно как-то... Самолет, шесть часов — и там. И совсем другой мир. Тань... Знаешь, я вот по Берлину, по Риму ходил, и ничего мне не в радость было. И знаешь почему? Тебя рядом не было... Честное слово, Тань... А там... Не то что красиво там, а по-другому совсем. Как другая планета, понимаешь? И мы, Тань...

Сергей и Таня целуются. Заглядывает Юрий, но тут же прикрывает дверь. Из общего гама выделяется голос Людмилы Петровны: «Слушайте, а давайте споем!» — «Точно! Вот в самый раз! Давайте ту, нашу. Помните?» Тут же в ответ: «Юр, подай гитару». Мелодия, затем голос Людмилы Петровны, к которому постепенно присоединяются голоса остальных:

Тайга с комарами, конечно, не Крым,
Но счастливы мы тем не менее,
«Даешь Комсомольск!» — мы опять говорим,
Как наших отцов поколение.

Нужна наша молодость, нужны наши мускулы,
Чтоб рельсами врезалась в рассветную даль
Байкало-Амурская, Байкало-Амурская,
Байкало-Амурская магистраль!

Картина шестая

Комната в гостинице. Широкая кровать, стол, тумбочки. Чисто и ничего лишнего. Черный куб телевизора повернут к зрителю задней панелью. За столом сидят Е в а и С е р г е й. Между ними блокнот, диктофон.

Е в а. Меня зовут Ева Лурвин. Я работаю на радио в город Гамбург. Это будет литературная передача. Тридцать минут. Десять минут — интервью с вами и дальше — чтение рассказ.

С е р г е й. Понятно.

Е в а. Итак, я задаю несколько вопрос. Нужен ваш голос, а поверх мы пустим перевод на дойч... Включаю. Готовы?

С е р г е й. Готов.

Е в а. Сергей, по поводу вашей книги критика сошлась во мнению, что вы пишете документальность, но... м-м... облачаете это в форму фикшен, беллетристики. Так ли это?

С е р г е й. Ну, какие-то документальные черты действительно присутствуют в моих рассказах, есть доля автобиографичности. В основном же все-таки вымысел. Стопроцентно документально писать не получится в любом случае. Да и скучно это, наверное. Вот.

Е в а. Но ощущение документальности очень сильно. Почему вы взяли для своего героя ваши имя, фамилие?

С е р г е й. Нет, ну это скорее имитация документальности, прием, чтобы сильнее воздействовать на читателя. А то что имя свое... Понимаете, я с первых вещей стал называть так этого персонажа. Он у меня практически сквозной... Понимаете, мне как-то и в голову не приходило, что, когда пишешь от первого лица, от «я», он может называться как-нибудь Андрей или там Роман... Я бы наверняка и писать тогда не смог. Да... Вот так.

Е в а. Здесь, в Германии, ваша книга вызвала довольно сильные отклики. А как в России?

С е р г е й. Даже не знаю... Много рецензий появилось, упоминаний. Чуть премию не получил одну, но это еще даже до выхода книги... А так... Ругают в основном.

Е в а. Да-а?

С е р г е й. Нет, у нас там, когда ругают, это считается, наоборот, хорошо.

Е в а. И за что вас ругают?

С е р г е й. Ну как... Литературные критики у нас в основном люди уже пожилые, и им как-то оскорбительно, когда о прошлом пишут плохо. Даже не то что о социализме, прочем таком... это некоторых, наоборот, до сих пор радует... а и о тех, кто сидел на кухнях, критиковал, пытался, так сказать, пассивно бороться. Понимаете? Да и написано, говорят, слишком просто, примитивно, а критики у нас — интеллектуалы. Нет, об этом

не стоит говорить, лучше почитать рецензии. Но в любом случае — я им всем рад.

Е в а. Понятно. Вы ведь не первый раз в Германии?

С е р г е й. Четвертый, кажется. Первый раз около года назад, были чтения по всем крупным городам. Потом в Кельне еще чтения, потом побывал на Франкфуртской книжной ярмарке. Вот... Сейчас, значит, четвертый раз.

Е в а. И какова теперь цель вашего визита?

С е р г е й. Участвую в проекте таком — «Коктейль русской словесности». В каком-то известном кафе будут чтения завтра.

Е в а. Кто еще с вами?

С е р г е й. Кирилл Стонов из Питера, Павел Зубов...

Е в а. Угу, угу...

С е р г е й. Потапов, конечно, Вика Ухновская, поэтесса... В общем, довольно сильный состав. Вас приглашаю. Приходите послушайте.

Е в а. О! Спасибо! Над чем вы работаете в данный момент?

С е р г е й. Ну, составляю сборник вещей... короче, сборник тех, кому нет еще двадцати лет.

Е в а. Очень интересно!

С е р г е й. Дело в том, что то издательство, где вышла в России моя книга, бросило, так сказать, клич присылать молодым свои произведения. Набралось больше сотни вещей. Я вот читаю и отбираю для сборника лучшие. Очень есть сильные... Вот.

Е в а. А свое пишете?

С е р г е й. Свое... Роман пытаюсь писать. Некое такое обобщение моих рассказов. Конечно, ситуации будут новые, но герой, в принципе, тот же. Но... но трудно уже стало об этом писать.

Е в а. Почему?

С е р г е й. Моя жизнь очень изменилась за этот год. Столько нового... И трудно обратно влезть... Ну, об этом тоже трудно говорить вот так... Посмотрим, что получится. Хорошо?

Е в а. Хорошо. *(Пауза.)* Спасибо! *(Выключает диктофон, проверяет запись.)* Спасибо, Сергей. Обязательно приду вас слушать. *(Убирает диктофон в сумку, поднимается.)*

С е р г е й. Извините, забыл ваше имя.

Е в а. Ева. Ева Лурвин.

С е р г е й. А, да-да... Ева, водки хотите?

Е в а. Водки? Нет, спасибо, мне еще надо... *(Вежливо улыбаясь.)*
Еще дела, дела.

С е р г е й. Как хотите. Что ж, тогда — до свидания.

Е в а. До завтра. Спасибо за беседу!

С е р г е й. Пожалуйста.

Е в а выходит. Сергей сидит за столом. Включает телевизор. Слышится немецкая речь. Сергей смотрит, щелкает пультом, переключая программы. Затем поднимается, достает из холодильника бутылку водки, закуску. Выпивает рюмку. Выключает телевизор, листает тетрадь, что-то черкает, вписывает. Затем снова выпивает водки. Листает тетрадь, отбрасывает ее. Включает телевизор, переключает программы. Немецкая речь чередуется с музыкой, потом — стоны, всхлипы, громкий шепот: «О, е! Е! О, бэби!» Сергей внимательно смотрит на экран, затем вдруг вздрагивает и выключает телевизор. Движение в прихожей. Сергей притягивает к себе тетрадь.

Входит П о л и н а.

П о л и н а. Привет, дорогой! *(Целует Сергея в макушку.)* Да ты у нас как О. Генри! Призываешь музу алкоголем... Но смотри не увлекайся — О. Генри от цирроза умер.

С е р г е й. Скорей бы.

П о л и н а. Перестань меланхоличать. Все хорошо развивается. *(Открывает шкаф, переодевается в халат.)* Завтра после чтения мы приглашены на фуршет.

С е р г е й. Ну это уж как обычно. *(Наливает водку в рюмку.)* Куда без этого...

П о л и н а. Напрасно хмыкаешь. Там соберется весь берлинский литературный бомонд. Можно очень полезные контакты наладить.

Сергей выпивает водку.

П о л и н а. И еще — говорят, на чтениях будет Йозеф Шранке.

С е р г е й. Да? И кто это такой?

П о л и н а. А это, дорогой Сережа, такой персонаж — он ходит по подобным мероприятиям... Налей мне, пожалуйста, рюмочку. Очень устала.

Сергей наполняет обе рюмки.

П о л и н а. Он ходит по подобным мероприятиям и устраивает какую-нибудь выходку. Обливает соком или плюет. Это считается знаком признания... Вот теперь ожидают, на кого завтра он внимание обратит.

С е р г е й. Очень интересно. Очень!

П о л и н а. Ну чего ты все рычишь? *(Подходит, обнимает Сергея.)* Знаешь, как я набегалась... Пожалей меня... *(Вздрагивает.)* А Ева, кстати, была? Все нормально?

С е р г е й. Корреспондентка эта? Была. Все нормально.

П о л и н а. Выпьем за завтрашний успех! Завтра очень важный день, Сережа.

Пьют.

П о л и н а. Ну что ты такой в последнее время? Что не так?

С е р г е й. Да как-то все... надоело все... Как-то я разжижился.

П о л и н а. Раз... что?

С е р г е й. А-а... Не могу я, блин, ничего делать... Вон с десятью страницами уже сколько вожусь и ведь вижу — фигня. Фигня изначально-

ная. Вранье в каждой строке практически... И оттого, что вот так живу теперь. Фуршетты-хринеты, самолеты. Баловень судьбы какой-то.

П о л и н а. Ну, что же делать... Писатель, дорогой Сергей, это тоже работа. Профессия. И заключается она не только в том, чтобы писать, а и раскручивать свои произведения, имидж создавать. Ты, Сережа, теперь общественная фигура, и это требует сил, жертв некоторых...

Сергей наполняет рюмки.

П о л и н а. Хватит, наверно. Утром опять будешь стонать.

С е р г е й. Я теперь всегда стону... Давай, Полин, по последней. И не, это, не читай мне нотаций. Понимаю я все. И сколько денег вложено, и что ждут от меня, и остальное все... Но не могу я... Этих читал... Фигня же, детский лепет сплошной. Этот, как его, эпатаж голимый. А будет, блин, под моим именем все. Дескать, я за это отвечаю. Ну да, я понимаю — дескать, загордился придурок. А правильно! Я теми своими рассказами дорожу. Честно писал и не думал, что их когда-нибудь возьмут и напечатают. Просто в голове этого не держал... Помнишь, ты Синявского давала читать? Помнишь, да?

П о л и н а. Помню, дорогой Сережа. Успокойся. Говори, излей душу.

С е р г е й. Не издевайся. Я ведь, это... Ай! *(Выпивает водку. Полина выпивает следом.)* У Синявского сказано, что писатель — человек, который крест на себе поставил, живой мертвец, что его вообще надо из людского общества гнать, как выродка... И когда я писал, я таким и был, и двадцать тысяч вокруг такие же. Тайга, железная дорога, станция, на которой два поезда в сутки тормозят, и полсотни пятиэтажек с мне подобными. Идиотами и детьми идиотов. А теперь... А? Кто я, кто они... И не могу я писать.

П о л и н а. О другом пиши.

С е р г е й. О чем?

П о л и н а. Вот — каким стал. Про это. *(Кивает на комнату.)* Как из тебя, такого честного, непосредственного, проект сделали, заставили детский лепет читать, роман требуют. Как старая тетка тебя окрутила. Как тебе все это осточертело. Фуршетты, журналисты, писатели пузатые, перелеты, таможни... Напиши. Разнеси все к чертовой матери. Людям понравится — искренний юноша восстал против бизнесменов литературных. Давай, Сережа, напиши. Я серьезно говорю.

Сергей наполняет рюмки.

П о л и н а. Если уж взялся, Сережа, ввязался в дело — нужно работать. Меня в издательстве задолбили: когда он хоть один рассказец сделает, чтоб новое издание выпустить? Раз в год нужна новая книга, по крайней мере хоть что-то новое, иначе просто забудут. И все, Сережа, и на хрен ты будешь кому-то нужен. Поэтому и дурацкий сборник этот придумали, чтоб не забыли...

Сергей пьет.

П о л и н а. Ну что ты мученика изображаешь, Сережа? Что, к себе туда хочешь вернуться? В тайгу свою? Возвращайся, пожалуйста, никто на коленях просить не будет остаться. Но сам ведь... Когда месяц там безвылазно прожил, так ведь по десять раз в сутки названивал... Не сможешь ты больше там. Но и никто тебя за красивые глазки здесь не станет держать. По фуршетам водить. Единственный шанс — сесть за стол и работать. Писать надо, пи-сать.

С е р г е й. Да повеситься надо.

П о л и н а (с холодным бешенством). Тоже выход, кстати. Для писателя это часто бывает на пользу.

Сергей наливает водку в свою рюмку.

П о л и н а. Перестань пить...

С е р г е й (выпив; задыхаясь после водки). Да, ну ты и... ну ты и сука, Полина Максимна. В натуре, попал... Жалко, веревки, блин, нету... В этой Германии только это... чтения... шанс... фуршет...

П о л и н а. Тебе веревку надо?

С е р г е й. Что, припасла? Спаси-ибо!

Полина встает, вынимает из шкафа колготки, бросает Сергею.

С е р г е й. Ох, романтично-то как! На женском белье удавиться! (Оглядевшись, начинает привязывать колготки к спинке кровати.)

П о л и н а. Ложись спать лучше, Сережа. Перепил — ложись и выспись... Хватит в Есенина играть... Ложись...

С е р г е й. Спасибо. (Возится с колготками.)

Полина наблюдает за Сергеем. Затем отворачивается, листает тетрадь.

Затемнение.



Виталий НАУМЕНКО

ТАМ, ГДЕ Я НЕ БЫЛ

В начале 2000-х годов нас, небольшую группу сибирских, а потому отчасти диких поэтов, пригласили выступить в Европу — и сразу в Париж. В поездке я делал записи, не придавая им никакого значения, а сейчас оформил как смог, не меняя и не прибавляя практически ничего, разве две-три реплики из времени сегодняшнего, в котором многое изменилось, активизировались террористы например. Впрочем, сравнивать я не вправе: с тех пор я в Париже не был. Да и не ретроспектива меня занимает, а само по себе то прошлое, что не вспоминается, а проживается вот в этих отрывочных записях заново, становясь реальнее многого настоящего.

* * *

Я вряд ли снова увижу Париж. Мне хватило одной поездки. Она и спустя много лет может быть проиграна мною под кубинское танго официального закрытия бьеннале. Именно под эту музыку, потому что и она — парадоксальная для закрытия (кубинская, а не французская), — и тост за поэта всех поэтов Рембо — все было в точку, пока я сидел замороженный и в голове крутились заглавия для эссе. Хотя при чем здесь эссе?

* * *

Когда в гостиничном номере я увидел на полке том Жерара де Нерваля — писателя не первого ряда, я воспринял это как знак уважения ко мне. Нерваль (оставленный случайно ли, нарочно) в парижской гостинице — это все равно что Мамин-Сибиряк в гостинице, скажем, Екатеринбурга: иностранцу в России надлежит столкнуться — ну с кем? — да, с Толстым, с Достоевским — это в зоне комфорта, это не разрушает шаблона. А тут — писатель, и соотечественникам малознакомый. И сам факт присутствия его как бы говорит: ты приехал к нам, и мы верим, ты человек образованный, отлично знакомый с нашей культурой и представления твои о нас далеки от расхожих.

Я вполне мог обнаружить на месте Нерваля Гюго, «Отверженные». Но тогда это была бы не Франция.

* * *

Притом что организаторами поэтического бьеннале были Анри Делюи (главный редактор столичного, вечно с чем-то борющегося «Аксьон поэт-ик», друг Сандрара, Арагона и Элюара, активный член Сопротивления) и Лилиан Жиродон из Марсея (редактор провокативного «Иф», поклонница Махно), ни в чем не обнаруживалось и зачатков террора и бунта; была лишь любезность, ухоженный город, его компактность и ненавязчивость. Правда, все места в общественном транспорте были заняты в основном неграми, явно считавшими себя настоящими французами на фоне нас, выбравшихся непонятно откуда... В политкорректности — шаг до абсурда. Вы не белые, ваши предки были рабами, но это не означает, что мы приехали поменяться с вами местами, пожить из какого-то чувства вины вашим прошлым. При этом смешанных пар на улицах сколько угодно. И у них все хорошо. Но... Увы, самые бесцеремонные, до хамства, из обслуживающего персонала — это негры и негритянки. Ты стоишь под душем, а она открывает своим ключом, моет там полы и меняет чистые полотенца на чистые же; ты хочешь что-то заказать в пустынном «Макдоналдсе», афрофранцуженки — ну и слово! — пока всё не «перетрут» между собой (а у женщин в жизни столько всего происходит), тебя и не заметят.

* * *

— Почему в Париже так чисто? — спрашивал я переводчицу Таню.

— Я сама не могу понять. Сколько раз сюда езжу. Или они так улицы моют, или у них совсем грязи нет.

Мужики вечером, вместо того чтобы выпивать, валяться под забором или смотреть телевизор, собираются на полянках и играют в какую-то странную игру. Гоняют шары. Смесь городков и гольфа.

Когда я уезжал, перегруженный пакетами с алкоголем, один пакет порвался, из него, словно в замедленной съемке, выпала бутылка с дорогим французским вином и разлетелась вдребезги на полу аэропорта имени Шарля де Голля. Не успел я опомниться, как ко мне со всех сторон бросились люди, переложили мой пакет в другой, покрепче, еще через секунду на полу не осталось ни осколков, ни лужи. Я купил такую же бутылку вина в дьюти-фри, а потом подумал, что в Москве, наверное, пришлось бы платить штраф и убирать все это самому. По крайней мере, я стал бы объектом насмешек, деревенским дурачком. Последнее, впрочем, недалеко от истины. Потому что, когда ты ночью в неизвестной завьюженной местности долго бредешь по сугробам, а потом в костюме звездочета водишь детей вокруг елки, а девочки-снегурочки и им подобные в гримерке, тут же, не стесняясь своей наготы, глядят оборки, матеря стреляющие током утюги, когда проводишь конкурсы, не зная, заведется ли та раздолбанная машина, которая должна увезти тебя, когда ты с полной самоотдачей отыгрываешь любую невменяемую роль и лишь постпарижский вояж по России...

По дороге домой я останавливался в каждом городе, где жили мои друзья (некоторых из них нет уже, как Вити Иваніва), даря каждому что-нибудь жутко алкогольное, не считая парфюма и безделушек, коробочек, эстампов, которые продаются на блошиных рынках набережной Сены.

Естественно, я вез в больших количествах вина, в которых тогда не разбирался, как, впрочем, и сейчас. Брать за один евро бутылку (учитывая, что нам очень хорошо платили за выступления, а я еще умудрился напечататься в газете французских коммунистов «Юманите» — это то же самое, что наша бывшая «Правда») — так вот, брать дешевое вино было несерьезно, я брал за 15—20, но были и какие-то заоблачные цены. Больше ста. И все это продавалось в районе Елисейских Полей.

Если вам скажут, что в мире есть улица лучше, это неправда. Магазины, уходящие в необозримое световое пространство, казалось, не имеющее выхода, пропитанное перемирием дорогих коллекций всего и вся настолько, что голова тебя не слушается. Потом, Шанз-Элизе — это, кроме прочего, взявшиеся за ручки пары, проходящие мимо витрин, где заправляют миром чудовищные буржуазные боссы; они проходят даже не оглядываясь в их сторону, не отрываясь друг от друга.

Триумфальная арка, венчающая Елисейские Поля, не представляет из себя ничего особо примечательного, но мне почему-то хотелось к ней чуть ли не припасть, испытывая непонятный порыв, трепет перед историей, что ли, такой же, как и в том месте, где стояла Бастилия, чьи раздолбанные неуловимыми мстителями стены теперь — белая линия на булыжной мостовой и откуда вывели глубоко нехорошего человека Маркиза де Сада и еще какого-то доходягу. Вот ты стоишь там и думаешь: «Боже, какая она была огромная, и вот ради этих придурков ее снесли?»

Посередине Елисейских Полей весь этот шикарный, горящий огнями, пропахший банковскими вкладами мир роскоши внезапно обрывается — ты попадаешь в чащу, в смесь деревьев разных марок. Там можно отлить. А для людей из ниоткуда, каковыми мы с Анатолием Кобенковым — моим учителем и другом — и являлись, это было особым событием, не имеющим никакого отношения к осквернению парка, событием, приобщающим к мировой культуре, как бы забавно это ни звучало.

Снова та же мысль: где мы были, откуда мы взялись и где мы оказались? Что нас тут свело? И когда Анри Делюи — классик французской литературы, певший шепотом, чтобы фашисты не услышали, «Интернационал», — бегал для меня за водкой по всей округе, а потом, запыхавшись, оправдывался: «Везде только польская, мы ее не признаем. Русскую очень сложно найти», я чувствовал себя примерно так же, как когда, скажем, ты узнаешь, что стал каким-нибудь лучшим автором года среди всех авторов женских романов.



Делюи рассуждал так: «Французская поэзия получила свободу с Востока, форма ей мешала. Пушкина хорошо переводил Арагон (сто стихотворений). Каждого поэта каждое новое поколение должно переводить заново. Хлебников непереволим, он производит впечатление дегенерата в переводах, непереволима Цветаева, проще Мандельштам и Пастернак...»

* * *

Хорошо с утраца, минуя бесплатный завтрак, взобраться на гору Монмартр (это сладкое для русского слуха слово вообще-то означает «Гора мучеников», и все ее путают с Монпарнасом), побродить по храму, отбиться от нескольких художников, в своем неугасимом желании написать твой портрет ничем не отличающихся от арбатских, или прибиться к тем, которые тебе нравятся, потому что добиться портретного сходства им не дано.

В то, что Париж существует, верилось и не верилось. И мне, и Анатолию Кобенкову, годящемуся мне в отцы, а вот его дочь Варя — основательница популярного русского сайта фанатов Бритни Спирс (она даже утверждала, что этот сайт у поклонников певицы самый посещаемый в мире) — наверное, воспринимала все происходящее как должное. Мы прибились к группе и полезли с ней по неисчислимым ступенькам на Нотр-Дам де Пари; при восхождении нас периодически останавливали и что-то рассказывали, чуть живых пенсионеров эти передышки крайне радовали.

Потом я рассматривал монстров, захотел коснуться одного, но передумал: сантиметров ли, смелости — чего-то бы, точно, не хватило.

Мне верилось в Париж потому, что есть же, черт возьми, «Шанель № 5», бордо и божоле, почти русский актер Жерар Депардьё и почти немецкая певица Патрисия Каас, календарь с изображением которой был наклеен в плацкартах по всему восточному Транссибу. А не верилось — по той причине, что он пребывает в нас как мечта, он — только представление, которое не может никоим образом соприкоснуться с реальностью.

* * *

Был роман с городом. Первый и последний в моей жизни. Если не считать того Иркутска, которого давно нет, с его отморозенными гопниками, дискотекой на острове Юности, шашлыками и, конечно, обелиском-шпилем в центре набережной; Иркутска с очень странными друзьями и женщинами, которые своими удивительными по недомыслию выходками делали нас только увереннее и старше.

Меньше всего я мечтал о Париже по путевке, с экскурсиями. Это уж пусть ездят японцы. В Лувре они заполнили все пространство вокруг «Джоконды» и почему-то непрерывно ее фотографировали, что уже нехороший признак (сходи и купи открытку), а рядом висел Рафаэль, не вызывающий у поклонников шедевра да Винчи никакого интереса.

Нет, нам, разумеется, нужно, просто необходимо было поползти по Эйфелевой башне, звеневшей снизу эйфелевым звоном своих мелких копий

в связках, по музеям — тот же Лувр чего стоит, особенно когда ты остаешься без присмотра в огромнейшем зале, доверху завешенном пуссеновскими раздутыми вакханками, тогда как к крохотному Ван Эйку — к «Чете Арнольфини» — пробиться невозможно, потому что современные вакханки, те, что из плоти и крови, оказывается, с возрастом еще больше раздуваются в ширину, надевают красные штаны и решают, что они искусствоведы. (Юбки в Париже, особенно выше колена, никто не носит, а то, что нам подают в глянце — это симулякр, и мы его хотим и берем.) Так вот, большие попы стоят и что-то там записывают в блокноты. Я не уверен, что это уважительная причина, чтобы никого не подпускать на расстояние выстрела. И что, они эту «Чету» не видели никогда?

Неплохо просидеть несколько часов перед картиной Эдуарда Мане в музее импрессионизма, когда на тебя слева и справа смотрят Моне и Ван Гоги, бьются в уголки глаз, побродить по набережной Сены, по блошиному рынку.

Французский блошиный рынок настолько же похож на, скажем, московский, как музей антиквариата на ярмарку меда. Здесь никто не торопится, не бегают, не кричит, это своеобразная плоть от плоти Парижа. Вальяжность, внимание — как маленькое одолжение покупателю, который не особо-то продавцу и интересен. Вино не пьется залпом — это все знают, и парижане как будто смакуют жизнь, растягивают ее.

Рядом с экспонатами, представляющими явную художественную ценность (теми же эстампами), и вещами, для толкучки обычными, выложено и выставлено нечто вовсе несуразное и бесполезное: вставные челюсти, разобранная карусель, пуговицы, наперстки, поломанные лампы, треснувшие зеркала, подозрительный фарфор с пастушками, каминь, бюсты никому не известных героев нации, безногие кресла с чудной обивкой, камушки, сейфы, шкафы и стулья, чернильницы, подушечки для иголок, бутафорские фрукты, пустые бутылочки из-под парфюма, неработающие фотоаппараты и часы — песочные, настенные и наручные.

* * *

Наши поэтические чтения... Слева от меня на полу возлежал лысый старик француз, с восторгом (вслух!) читающий по программке русский текст, справа что-то говорил рэпер. Это доставляло неудобство не только мне, но французы (этого у них не отнять) очень воспитанны — они и веселятся иначе, даже когда напиваются, говорят сами с собой, а не лезут к тебе со своими объятиями и душевными излияниями.

Выступление. Темпераментная чилийская поэтесса.

— Заткнись.

— Приезжайте к нам, на Байкал.

— На Байкал? With you? — испугалась поэтесса. — No! No! No!

Уверена: все ее хотят.

«Заткнись» — вот все, что она знает по-русски.



— Пойду выпью еще, — сообщила чилийка, вероятно по-испански, и исчезла в недрах французского ДК.

Местные поэтессы были крайне необщительны, бледны, юны, коротко стрижены и читали мертвенными голосами что-то о своих женских проблемах (по крайней мере, так мне переводила Тая). Публика — человек триста — комфортно расположилась со стаканами прохладительных напитков.

Современная французская поэзия (что общее место) требует от автора остроумия и хорошего композиционного мышления. Побольше шуток или побольше страданий и разрывания на себе одежд. Разумеется, все это кошмар для поэта традиционной школы. Мой наставник Кобенков был начисто лишен аффектации, поэтому его почти не восприняли, хотя он изо всей этой компании безусловно лучший поэт.

В регулярный стих французами, с их регулярным ударением, регулярно вбивается осиновый кол.

* * *

Парижские клошары — те же наши бомжи, только грассируют. И каштаны у них — один в один наша печеная картошка. Да, каштаны мелкие, но, если много их съесть, можно и наестся.

Мы обычно ходили, когда были предоставлены сами себе, обедать в Латинский квартал. Я невольно сравнивал их студенческие забегаловки с нашими — так это рестораны просто.

Парижские кафе — вообще отдельная история. В Москве тогда еще не было такого. Центр города полон «стекляшек», где за маленькими столиками на соломенных стульчиках сидят французы, пьют кофе, болтают. Суть не в ланче, а в самом процессе: сидения, разговора. Дожевал чебурек, чем-то запил и убежал — целая ментальная бездна до сих пор между нами.

Париж — прозрачный, стеклянный город. Кафе, магазины — всё видно насквозь. Можно увидеть, кто сидит в забегаловке на другой стороне улицы за самым дальним столиком. Никому — тогда! — не приходило в голову бить чем-то это стекло. Париж был и, наверное, остался городом людей, плутающих внутри игры, цель которой обратить на себя внимание. Здесь все рядом, все хотят нравиться, а не прятаться по углам, поэтому и закрытость кажется обманчивой...

* * *

На мосту Мирабо на меня снизошло какое-то просветление. Мало того что это мое любимое стихотворение и уже в самолете книжка Аполлинера как-то мистически на нем раскрылась, именно в момент, когда я там, на мосту, оказался, это стихотворение, которое я знал наизусть, меня пронзило, я почувствовал физически — и это движение воды, и почему оно, и почему так.

Со мной никого не было: ни переводчицы, ни Анатолия Кобенкова с Варей. Скорее всего, это и был самый важный момент в моей жизни.

Сена текла как и должна была течь.

Я, естественно, раньше не представлял, что это за мост такой (кстати, очень похожий на любой питерский из культовых и небольших, если убрать оттуда всю нашу суету) — и вот во мне вдруг что-то дрогнуло.

Казалось бы, чего такого? Но когда тебе становится хорошо с самим собой, что мне несвойственно, — это сродни чуду. Я так это и воспринял и был поражен своим одиночеством на обычном, казалось бы, мосту, который объяснил мне, почему я здесь.

* * *

Мне не все равно, как изменились мои бывшие девушки, но я люблю их только такими, в каких когда-то влюбился. Память — непрерывное сейчас. Задействующее все органы чувств. И я не завидую тем, кто умеет их отключать. Или переключать и хвастаться фотками: «А вот где я была». Ну была, а что после этого осталось? Да ничего по большому счету, кроме этих самых фоток. Пройти по той же улице, поговорить с тем же человеком (пускай ничего этого уже нет) — это и есть подлинный акт воспоминания. Память — это оживление.

* * *

Что нас роднит с французами — это дети. Они абсолютно такие же. Я выражаю личную благодарность Фиделю Кастро, который не пустил на бьеннале некоего диссидента, подписавшего не то, какое надо, письмо. Я поехал в школу вместо него и гонорар вместо него получил. Собрание было пестрое: и африканцы, и арабы, и французы (в меньшинстве). Учительница на чистейшем русском произнесла такую замысловатую фразу (чуть ли не из Баратынского или Чаадаева), что я обомлел и спросил, откуда она так хорошо знает русский язык. Оказалось, что она его вообще не знает, но она подготовилась.

Дальше начались детские вопросы, ровно такие же, какие мне задают дети или воспитанники ПТУ в России: «Когда вы начали писать?», «Много ли у вас стихов о любви?». Мы с переводчицей успешно отбивались. Но был вопрос, на который я не смог ответить: «Вы самый известный в России поэт?» Сказать да — соврать, сказать нет — потерять к себе всякий интерес аудитории. Таня как-то вывернулась. Ее ответ всех устроил, меня тоже, хотя я (ведь говорила она по-французски) ничего и не понял.

Мне этот (очень детский) вопрос нравится до сих пор: а что считать критерием известности? и что она определяет? и определяет ли хоть что-то вообще?

* * *

Удивительно, что Париж, бывший после революции пристанищем русской эмигрантской литературы, в начале 2000-х не представлял в этом плане из себя ничего. На вечер Горбаневской, как рассказал французский славист,



человек кипучей энергии, коллекционер Рене Герра, у которого мы побывали в гостях, пришло пять человек. И не считалось, что это мало.

Герра был влюблен в русскую культуру начала XX века.

Обладатель автографов Розанова, Шаляпина, Чехова, картин Серебряковой, Гончаровой, даже Серова. Тут же пышущий здоровьем Кустодиев, книга Ходасевича, подписанная Бунину, уникальный, раскрашенный вручную экземпляр «Двенадцати» Блока...

Он застал, кроме Бориса Зайцева, которому был душеприказчиком и личным секретарем, Газданова, Адамовича, Одоевцеву, Гуля, Вейдле, Терапиано...

Герра скупил все графические работы Юрия Анненкова (около тысячи), то есть фактически содержал его, он собиратель русских «колокольчиков под дугой» (при нас радостно примерял их на себя), порнографии времен Серебряного века (показывал приватно, чтобы девочки не видели). Душа широкая, доходы с виноградников позволяют заниматься экзотическим коллекционированием.

Герра почти без акцента говорил по-русски. Русскость его была фанатичной и заканчивалась где-то в конце эпохи Николая II и журнала «Сатирикон». Мы на его фоне выглядели как-то не комильфо: нам следовало бы отобрать у него колокольчики, раздобыть где-нибудь балалайку и тут же пуститься в охочий цыганский пляс с обязательным медведем в косоворотке...

Первое, что сказал Герра: «Я ненавижу коммунистов!» — и стал страшно старорежимно материться в присутствии дам.

Мы обедали под картиной Кончаловского; Герра все хвалился архивами Бальмонта, Бунина, Шмелева.

И все-таки он белая ворона: русской эмиграцией в Париже не интересуются.

* * *

Нас с Кобенковым поразило, что на православном кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, как сказала наша самая любимая в мире переводчица Таня, за много лет (ведь это было не первое бьеннале Анри, куда приезжали русские) никто из ее подопечных не был и местом этим не интересовался. На Сен-Женевьев похоронены Георгий Иванов, Гишпиус и Мережковский, Ремизов, Бунин, Шмелев, Газданов, Поплавский, Тэффи, Зайцев, Оцуп, Андрей Тарковский, Нуреев, Мозжухин, Сомов, Коровин, Галич, Виктор Некрасов, Булгаков, Лосский...

Доехать до места было непросто и могилы найти тоже. Даже с помощью заспанного сторожа, которого мы тоже перед этим долго искали.

Кладбище (очень небольшое) никто не посещает, никто за ним особо не ухаживает (исключение: могилы Тарковского, Газданова и Бунина). Но мы не лили, как полагается, слез покаяния, не замаливали грехов предшественников; мы ощутили там некий прилив счастья: мы стояли рядом не просто с холмиками и табличками, а с людьми, которые нас воспитали и вырастили. Смерти подвластна плоть, но не искусство же.

Я помню, как, приехав почему-то на велосипеде, ощутил, несмотря на сборище в никуда глазающих туристов, прилив счастья на могиле Пушкина...

Я вообще убежден, что кладбище — это не то место, где надо непременно рыдать и биться в разного рода припадках. Скажем, мои завывания на могиле Пушкина выглядели бы нелепо. Да и ему бы это вряд ли понравилось. Мы читали в Пушкинских Горах на пару с местным экскурсоводом не очень приличное стихотворение Льва Лосева об Арине Родионовне, и нам было смешно.

Мы не знаем, что такое смерть. Я уверен только, что приход ее — не циничное над нами издевательство, вроде омерзительного хохота мультяшного дятла Вуди.

* * *

«Город, где я не был» — это ощущение. И если меня позовут туда еще раз, я не поеду. Пятнадцать лет — это много. Зачем предавать воспоминания, которые для меня более вечны, чем всё, что происходит вокруг?

Давно умер Анатолий Кобенков, которого, я думаю, все потрясло еще сильнее, чем меня: он вырос при советском строе, я уже нет. Хотя дрожали мы перед визовым отделом в посольстве примерно одинаково.

И когда на прощальном вечере звучало кубинское танго и мне казалось, что звучит оно с той канувшей в Лету кассеты, с той самой, которую мы крутили на карандаше, чтобы прослушать записи группы «Мираж», я подумал: «Как здорово! Название так и просится для эссе — “Последнее танго в Париже”!» Но потом почему-то передумал...



Сергей ЗАПЛАВНЫЙ

ГОРОД НА РЕКЕ ЧИСТОВОДНОЙ

*Историческое повествование**

Томские первопроходцы

Воротами в первую, «прилежащую к Оби-матушке Сибирь» волею судьбы стал Тобольск. За Обью начиналась вторая Сибирь, «прилежащая» к могучему Енисею. Воротами из первой во вторую, а затем и в третью, прилежащую к не менее могучей реке Лене, суждено было стать Томскому городу, центру второго сибирского «разряда».

Вот и разгорелось между воеводами обских и енисейских уездов негласное соперничество, чьи «людишки» лучше и быстрее разведывают «Ленскую землю», заведут там на государя (и на себя заодно) больше промысловых угодий, начнут собирать ясак с дальней «страны Тунгусии». На указания, приходящие из Сибирского приказа, они, бывало, и внимания не обращали. Москва далеко, за всем, что делается за Камнем (Уралом), ей не уследить. Да и незачем. Воеводам видней, как лучше поступить, «смотря по тамошнему делу».

Не остались в стороне от этого соперничества и томские воеводы Иван Ромодановский и Андрей Бунаков. Решили и они отправить на Лену своих служилых и промышленных людей. Собрать отряд поручили одному из самых опытных томских атаманов Дмитрию Копылову. Службу он начинал пешим казаком, но вскоре стал десятником, а затем пятидесятником конных казаков. Участвовал во многих сложных и ответственных походах. Тринадцать раз был ранен в стычках с кыргызами и калмыками.

В товарищи Копылов взял такого же, как сам, бывалого казачьего «атаманишку» Ивана Москвитина. Тот вырос в походах при родиче своем Луке Москвитине, который еще в начале царствования Бориса Годунова «северным морским ходом» на трех кочах проник со своими людьми в устье Оби, а позже под именем «капитана Луки» разведывал Енисей. До чина сына боярского Иван Москвитин так и не дослужился, поскольку норовистым был и неуживчивым, зато отличался выносливостью.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2017, № 1. Иллюстрации Анатолия Заплавного.

Припасами отряд Копылова Ромодановский и Бунаков обеспечили только до подчиненного Томскому городу Енисейского острога: там-де вас енисейские воеводы на дальнейшее «пошествие» снабдят, да и сам Бог в пути не оставит...

В Енисейском остроге сходились тогда два пути, ведущие на восток, к окраинам Евразии. Один шел через Тобольск (по Иртышу, Оби, Кети и Енисею), другой, более дальний и кружной, через Томской город. Но был еще третий, северный — через заполярный город Мангазею (ныне пристань на правом берегу реки Таза, впадающей в Тазовскую губу). Минувя Енисейский острог, он проходил по рекам Турухану и Енисею на Нижнюю Тунгуску, затем по Чоне и Вилюю устремлялся к берегам Лены. Именно этим путем пятнадцатью годами ранее промышленный человек Пенда со товарищи достиг богатой соболями и другой ценной пушниной «Ленской землицы». Затем здесь побывали малочисленные отряды тобольских, березовских и мангазейских служилых людей, но закрепиться надолго на Лене и Алдане они не смогли.

Более удачливыми оказались казаки Енисейского острога. По Ангаре они добрались до Илима и срубили там острожек у волока на Лену, а затем с Илима по реке Куту вышли к «Якутской землице» и поставили еще один острожек — Ленский. Он состоял из трех изб, часовни, двух амбаров и караульной вышки над въездными воротами.

Узнав, куда отряд Копылова путь держит, енисейские воеводы «холодные стали и досадливы»: нешто у томских служилых людей других дел нет, как в чужие угоды соваться? Однако «припасишков» им на дорогу кой-каких дали да и выпроводили поскорей дальше.

Южный путь с Енисея на Лену лежал через реки и горы, болота и степи, через тучи гнуса, по землям далеко не всегда мирных племен.

Лишь в 1638 г., через год с небольшим после выступления отряда Копылова из Томского города, добрались томичи до Ленского острожка (позже его стали называть Якутском). Тамошние казаки встретили их хлебосольно: очень уж соскучились они по «новым людям». Однако вскоре начали поглядывать настороженно, выпытывать: с чем пришли? Не хотят ли острожек «взять под себя», как норовят это сделать «бродячие отрядцы» тобольских и мангазейских служилых людей?

Копылов успокоил их:

— Ни боже мой! Живите себе как жили, братцы, а мы на Алдан-реку двинемся. Там, говорят, места тучные, зверя, птицы и рыбы вдоволь. Вот и посмотрим, что за места, что за люди.

— Там ноне тоже беззаконники озоруют, — предупредили его. — Иной раз друг друга и промышленных людей побивают, пошлину с них силой дерут, а новым ясачным людям тунгусам чинят сумнение, тесноту и смуту. Хуже того — от государя прочь отгоняют. Разве ж так можно?

— Ничего, — нахмурился атаман. — Мы порядок живо наведем. Старше Томского города по сю сторону Оби никого нет. Стало быть, и там наше слово старшим будет.

Тем же летом отряд Копылова срубил на берегу Алдана свой Бутальский острожек и стал объясничать окрестных тунгусов (эвенков), называющих

себя *илэ* (человек), и *йэкэ* (якутов), обещая им защиту от воинственных племен и «бродячих казаков», а от московского государя ласку и заботу.

Сегодня слово *объясачить* применительно к событиям того времени воспринимается чаще всего с негативным оттенком — то есть не просто как взимание с инородцев подати пушниной, а еще и как принуждение к ней, нередко корыстное. Спорить с этим трудно. Многое, в том числе сбор подати (налогов), без которого не обходилось и не обходится ни одно государство, осуществлялось тогда и правда с большими перекосами. Давали себя знать алчность и предприимчивость, замешанные на культе силы, жестокосердие и другие человеческие пороки. Однако для наших далеких предков это слово имело и другой смысл. *Объясачить* — значило сделать подданными России новые племена и народы, присоединить к ней новые пространства, укрепить ее, расширить, обустроить. Если и возникали у них конфликты с этими племенами и народами, то вовсе не на национальной почве, а, говоря современным канцелярским языком, на почве несправедливого распределения общественного продукта.

Вот и в отряде Копылова подобрались люди разные. У одних от возможности «сколотить копейку» голова кругом пошла. Начали они искать способы, как у окрестных *илэ*, *ороченов*, *йэкэ* пушнину за бесценок выменять или двойной ясак с них взять. Самовольничать стали, Бутальский острожек «уширять», чтобы подольше остаться в нем, а получится — и свое дело завести. Но были среди них и такие казаки, которых на Лену привела надежда найти здесь душевное спокойствие, мечта открыть иной, более светлый и справедливый мир, почувствовать себя частицей той великой Руси, которая есть не что иное, как вечная дорога и вечное движение.

Иван Москвитин оказался из их числа. Узнав от тунгусов и служилых людей Ленского острожка, что за горной стеной Джугджур есть таинственная река Сивирюй и другие «захребетные реки», а за ними Теплое море, он загорелся желанием ступить на его берег, своими глазами увидеть край земли.

Дмитрий Копылов его желание охотно поддержал. По его сведениям, у Теплового моря всяких богатств и впрямь видимо-невидимо. Серебро прямо под ногами валяется. Вот и отрядил он с Москвитиным двадцать казаков «своих» (томских) да десять красноярских, прибывших незадолго до того в Бутальский острожек, для похода на край земли. Не вернутся — значит, так тому и быть. А вернутся — им первым и слава и выгода.

Такая была эпоха — смутная, противоречивая, жестокая и вместе с тем удивительно, как сказал бы Лев Гумилев, пассионарная. И Копылов, и Москвитин, и те казаки, с которыми последнему предстояло идти к Теплому морю, были людьми своего времени со всеми их достоинствами и недостатками, но для нас они прежде всего первопроходцы.

Вот рассказ одного из них, казака Нехорошки Колобова, записанный позже в съезжей избе Илимского острога волостным дяком Петром Стеншиным.

«В прошлом де во 147-м (1639) годе с Алдана-реки из Бутальского острожку посылал на государеву службу томской атаман Дмитрий



Копылов томских служилых людей Ивашка Юрьева сына Москвитина да их, казаков, с ним 30 человек на большое море-окиян, по тунгускому языку на Ламу. А шли они Алданом вниз до Маи-реки восьмеры сутки. А Масю-рекою вверх шли до волоку 7 недель, а из Маи-реки малую речкою до прямого волоку в стружках шли 6 ден. А волоком шли день ходу и вышли на реку на Улью, на вершину. Да тое Ульем-рекою шли вниз стругом, плыли восьмеры сутки. И на той же Улье-реке, зделав лодью, плыли до моря до устья той Ульи-реки, где она пала в море, пятеры сутки. И тут де они усть реки поставили зимовье с острожком, и на том бою с теми тунгусами взяли в аманаты (заложники) двух князцов, азянских мужиков князца Дорогу, да килярских мужиков князца Ковырина сына...

А по той де по Ульи живут те тунгусы четыре роды: килары, долгины, горбыканы, бояшенцы... А на той де реки на Улье соболя и иного зверя у них много. А бой у них лучной, у стрел копейца и рогатины все костяные, а железных мало; и лес и дрова секут и юрты рубят каменными и костяными топорами...

Да они ж де ис того ж острожку ходили морем на Охоту-реку трои суток, а от Охоты до Ураку одне сутки. А те де реки собольные, зверя всякого много и рыбные. А рыба большая, в Сибири такой нет, по их языку кумжа, голеу, кета, горбуня, столько де ее множество, только невод запустить и с рыбою никак не выволочь. А река быстрая и ту рыбу в той реки быстредью убивает и выметывает на берег, и по берегу лежит много, что дров, и ту лежачую рыбу ест зверь — выдры и лисицы красные, а черных лисиц нет. А жили они на тех реках и с проходом два года...

И тот де князец, которого взяли тут на бою, учал им рассказывать, что от них направо, в летнюю (южную) сторону на море по островам живут тынгусы ж, гиялки сидячие (нивхи), а у них медведи кормленные (священные животные). И тех де гиялков до их приходу побили человек с 500 на усть Уды-реки, пришед в стругах, бородатые люди доуры (оседлые земледельческие племена монгольской группы), а платье де на них азямы (длинные кафтаны), а побили де их оманом: были у них в стругах и однодеревках в гребцах бабы, а они сами человек по сту и по осемьдесят лежали меж баб, и как пригребли х тем гиялкам и, вышод из судов, и тех гиялков так и побили. А бой де у них топорки, а сами были все в куюках збруйных



(панцирях и доспехах). *А русских де людей те бородатые люди называют себе братьями. А живут де бородатые люди... по Амуре-реке дворами, хлеб у них и лошади, и скот, и свиньи, и куры есть, и вино курят, и ткнут, и прядут со всего обычая с русского... И про серебро де сказывали, что у тех де бородатых людей, у даур, есть; и те де будто доуры русских людей желают видеть, для того что называюца им братьями... А сказывали те тунгусы, что от них морем до тех бородатых людей недалеко, а не пошли де они к ним морем за безлюдством и за голодом, что там, сказали, рыбы в тех реках нет...*

И были де у них те аманаты немногое время, всего неделю, пришед их и скрадом отбили те ж тунгусы. А приходило де тех тунгусов восемь родов, люди многие, и они де, служилые люди, в те поры в острожке были не все, только половина, а другая половина, пятнадцать человек, делали два коча... побежал было казак, который у них сидел, Дружинка Иванов, и того казака те тунгусы паллами искололи...»

Позже отряд Москвитина разделился: один коч (большая беспалубная лодка) ушел на север — до Тауйской губы, другой на юг — к устью Уды. Так были открыты для России Охотское море, Шантарские острова, Сахалин, Удд...

Вернулся Москвитин в Ленский острог через два года с богатой добычей — одиннадцать сороков соболей для государя доставил, «головной» из них оценен был в 400 рублей. А еще томичи подробно расписали путь до Охотского моря и свои советы тем, кто отправится туда следом за ними.

Трудно даже бегло перечислить все походы, предпринятые томичами в пору становления Сибири. Это и к ним относится такая оценка видного английского ученого Джона Бейкера: «Продвижение русских через Сибирь в течение XVII века шло с ошеломляющей быстротой. Их успех отчасти объясняется наличием таких удобных путей сообщения, какими являются речные системы Северной Азии, хотя преувеличивать значение этого фактора не следует, и если даже принять в расчет все природные преимущества для продвижения, то все же на долю этого безвестного воинства достанется такой подвиг, который навсегда останется памятником его мужеству и предприимчивости и равного которому не свершил никакой другой европейский народ».

В подтверждение этого достаточно привести лишь один исторический факт: ровно тридцать пять лет отделяют день рождения Томска от того дня, когда его служилые люди, вдоль и поперек пройдя всю Сибирь, вышли к берегам Тихого океана.

«До нас были люди, да не сделали...»

Сотрудник английской торговой компании Джосиас Логан, «много ездивший по пути от Печоры до Оби», записал в своем дневнике, что летом 1611 г. в Усть-Цильме встретил он «солдат» из Томска, «которые сожгли город и бежали оттуда по причине недостатка съестных припасов и невыплаты жалованья».

Если отбросить явные преувеличения этой записи, останется факт, нередкий для Смутного времени: волнения томских служилых людей окончились пожаром и обычным в таких случаях побегом смутьянов. Часть города выгорела. Пришлось его «починивать», и судя по всему, весьма основательно.

Три года спустя Томск осадили «немирные» кыргызы. Они осыпали его дождем огненных стрел. И вновь пришлось латать крепость, которая и без того успела прохудиться и «огнить». Позже Томской город еще не раз горел, а в 1643 г., как свидетельствуют историки, выгорел почти весь.

Прежде чем приступить к своим обязанностям, каждый новый первый воевода «в товарищах» со вторым воеводой и дьяком обязаны были принять у своих предшественников *«печать царства Сибирского Томского города, и город и острог, и городовые, и острожные ключи, и взяв с собою городничих, итти... по городу и по острогу, и пересмотреть на городе и на роскатах всякого наряду и городовых и острожных крепостей, и слухов, и подкопных мест»*, принять «по наличию» казну, пушнину, порох, свинец, хлеб и прочие запасы, затем, «не мешкав», отчитаться о состоянии крепости перед Москвой.

Отчеты эти раз за разом становились все более неутешительными. Они рождали все более и более строгие государевы указы — *«чтоб всякими людьми в Томском сделать новой город, а старый весь развалился»*. Следом присылались деньги «на лес и на строение». Однако новые воеводы эти указы исполнять не спешили. Срок их службы не располагал к основательности — два, от силы три с небольшим года. Кому охота строить город заново, зная, что плодами своих трудов сами они не успеют воспользоваться? Куда как проще подновить «горелые, огнившие и прочие худые места, смотря по нужде».

В 1627 г. томские воеводы князь Осип Хлопов и Иван Норманской, сдавая крепость новым воеводам князю Ивану Козловскому и Грязному Бартеневу-Чулкову, вручили им сделанную годом раньше *«Роспись Томскому городу и острогу и что на городе и на остроге наряду и в государевой казне пушечных запасов зелья и свинцу и в государевых житницах всяких хлебных запасов нынешнего 135 году сентября по день»*. Это единственный дошедший до наших дней столь подробный документ, дающий представление о Томске изначальном. В нем точно указана длина городских и острожных стен, высота и названия башен, размеры съезжей избы и воеводских хором, количество «всякой рухляди и вооружения» (семнадцать пушек, две из которых отлиты в Томске, и припасы к ним). Также имелось «пять знамен зеленых да одно крашеничное» и воеводский архив.

Основываясь на этой росписи, директор Томского краеведческого музея Николай Михайлович Петров в 1967 г. создал первый макет томской крепости, позволяющий зримо представить, как она выглядела в начале XVII в. Конечно, это уже не тот город, который срублен в 1604 г., ведь роспись составлена два с лишним десятилетия спустя, за это время он не раз горел, достраивался и починивался, но общие очертания все же сохранил.



Еще один макетный вариант Томска изначального к 400-летию города сделал краевед Виктор Алексеевич Коковихин. Он замечателен тем, что изготовлен не из картона, а из еловых и кедровых бревнышек. Только в макет Троицкой церкви Коковихин уложил 1200 таких бревнышек. Работа тонкая, поистине ювелирная...

Но вернемся в век XVII, к градостроительным проблемам томских воевод. В 1633 г. Москва прислала сюда на кормление князя Никиту Егупова-Черкасского. Как и его предшественник князь Иван Татев, он получил государев указ «делать город и острог, не отписываясь к Москве». Но, как и Татев, он ограничился лишь подготовительными работами к давно намеченному строительству. А когда второй воевода Федор Шишкин напомнил ему про государев указ, остудил его пыл такими словами: «До нас де люди были да не сделали, а я со всеми людьми з городом, не хочу остужаться».

Томской детинец

Лишь десять лет спустя, при князе Осипе Щербатом, дело наконец сдвинулось с места.

Новый воевода был молод, горяч, предприимчив. По ходатайству московских бояр его чуть было не расписали воеводой в Мценск, но царь это назначение не утвердил «для того, что он молод и польских служб не знает». Пришлось князю ждать другого случая. Он представился в 1645 г., когда в Томске скоропостижно скончался его старший брат и место первого томского воеводы освободилось. Тут уж Осип Щербатый не оплошал, сделал все, чтобы занять его место.

Прибыв в Томской город, он первым делом прибрал к рукам «колмацкий торг». Скупив через своих людей «малой ценой» мех *иргизей* (снежных барсов), соболей, «рыбий зуб», китайскую камку, «лутчих» коней, быков, коров, овец, он отправлял их в Енисейский, Красноярский и другие остроги на продажу «большой ценой». Для провоза товаров использовал «государевы подводы», пошлиной не облагаемые. Отбирал у служилых людей пушнину, силой менял плохих коней на добрых. Ясак с остяков, чулымских татар и алтайцев частично «брал на себя, мимо государевой казны». Завел на воеводском дворе дубление кож и винокурение. Вымучивал взятки у ямщиков, служилых и посадских людей. Крестьянам подгородной слободы вдруг увеличил размер казенной десятины, а потом за взятку в триста рублей, собранную с них «по раскладке», свою же «бездельную корысть» отменил.

Только в 1647 г. Осип Щербатый отправил в свое подмосковное имение два доверху набитых «добровольными подношениями» дощаника и полтора десятка скаковых коней. При этом мздоимцем он себя не считал. Корыстолюбие уживалось в нем с искренним желанием послужить Отечеству, черствость с приступами великодушия, надменность с умением быстро и толково делать увлекшее его дело.

Таким делом стало для него строительство «города в городе», иными словами, кремля, или, говоря образно, *детинца*. В сентябре того же 1647 г.

он получил из Сибирского приказа государево повеление перенести пострадавший от пожара в 1643 г. Томской город на новое место. В отличие от предшественников оно вызвало в нем прилив энергии. Щербатый представил, как из небольшого латаного-перелатаного города на Воскресенской горе вырастает просторный, величавый детинец. Пора наконец томским воеводам обзавестись своим кремлем, да таким, каких прежде на Сибири не бывало. Пора показать Москве и другим сибирским «управщикам» свое «досужество», отличиться на «живом деле».

Щербатый сразу понял, что отработками, разложенными на все трудоспособное население крепости, ему большое строительство не осилить. От разнородного толпища, оторванного на время от своих прямых обязанностей, толку мало. Тут нужна артель умельцев во главе с опытным градоделом, и артель немалая — сотни этак в полторы. А чтобы каждый из этой братчины трудился в полную силу, за старания ему следует положить такой оклад, какой ему раньше и не снился. К примеру, как у самого Щербатого — 17 рублей. Уж тогда древоделы от души расстараются, такой кремль изладят, каких и в сказках не бывает... За это им придется выплатить разом «полтраты тысячи» (2500) рублей, а то и поболее. Откуда их взять?

А из карманов всего томского люда — вот откуда. Для этого всего-то и надо заменить строительную повинность денежными сборами. Так уже в некоторых «замосковских» уездах делается... Служилых людей в Томском городе 606 человек. Годовой оклад у них — пять тысяч. Половину смело можно забрать в зачет отработок. С жилецких и оброчных людей (их 58 человек) второй годовой оброк стребовать. Да с пашенных крестьян (их 89 человек) на постройку города по девяносто две копейки с каждой десятины государевой пашни получить. Да из церковной казны запросить сколько получится. При таком раскладе денег должно хватить на все, еще и останется. Ведь и старания самого Щербатого тоже немалого вознаграждения требуют.

Первым делом воевода стал искать подходящего градодела. Атаманы указали на пешего казака Петрушу Терентьева. Дескать, мастер на все руки. Хоть и простоват с виду, и служака из него не ахти какой, а в плотницком деле куда как лучше других смыслит. Отец у него чистодеревщиком был, и он к зодческому делу с юных лет пристрастие имеет.

Переговорив с Терентьевым, воевода убедился, что тот и впрямь мастер хоть куда. Тут же велел ему собирать строительную артель. Неважно, будут ли это служилые, посадские, промышленные, гулящие, пашенные или ясачные люди, лишь бы они свое дело знали и готовы были потрудиться на строительстве детинца так, «как мера и красота им скажет».

Терентьев, всего за несколько дней превратившийся из Петруши в Петра, да еще и с отчеством, и рад стараться. В Томском городе он сто тридцать четыре плотника нанял, еще двадцать в Кузнецком остроге. Не откладывая дела в долгий ящик составили «поручную запись» (договор найма) и передали ее на хранение казачьему голове. А уже в октябре плотники под началом Петра Терентьева первые венцы будущего кремля в землю начали укладывать.

Город ахнул: мало воеводе Щербатому тех насилий и вымогательств, которые он со своими *ушниками* и *шишиморами* (доносчиками и мошенниками) над «простым народишком» творит, вздумал еще и детинец вопреки обычаю не «головами» служилых и прочих людей ставить, а за деньги. Обобрал всех до нитки, чтобы плотникам наперед оклады выдать. И какие оклады! Даже самые заслуженные атаманы таких не имеют. Плотников тоже «втихоря» пощипал. Без *посулов* (взяток) такие дела не делаются, но разве они об этом скажут?

Долго горожане обиды на Осипа Щербатого копили, а тут их прорвало: нет больше мочи его *изгони* терпеть. Не так он решил новый город ставить. Не на том месте, к которому большинство «грацких людей» вместе со вторым томским воеводой Ильей Бунаковым склоняются. Не в том виде, который им более привычен и менее затратен.

Щербатый и прежде со своим напарником не очень-то считался. Он — князь, а Бунаков всего-навсего мелкопоместный дворянчик с Вологодчины, вот пусть и знает свое место. Долгое время второй воевода мирился с таким к себе отношением, наконец и его прорвало. Воспользовавшись внезапной болезнью Щербатого, он распорядился венцы, которые плотницкая артель Терентьева успела уложить в основание детинца на Воскресенской горе, разобрать, а вопрос, как и где новый город ставить, вынести на всеобщее обсуждение. Оно покажет, кто прав.

Однако Щербатый отступать не привык. Напротив. Превозмогая нездоровье, он начал действовать. Не дожидаясь, когда Бунаков соберет заявлен-

ный им мирской сход, поспешил собрать у Троицкой церкви своих приспешников, да не как-нибудь, а с молебном и душеподъемными речами. Затем, опираясь на эти речи и этот молебен, велел Петру Терентьеву вновь приступить к строительству детинца — на том же самом месте, но теперь не в нарушение «земской правды», а «по совету с грацкими людьми» и по составленной ими «грацкой скаске».

В Соборном уложении тех лет (глава II, статья 22) сказано, что законное челобитие (жалоба) на насилие воевод не является «скопом и заговором»; право на него имеют ясачные, пашенные, посадские и служилые люди вплоть до детей боярских, а тем, кто будет представлять такое челобитие бунтом, следует учинять суровое нака-





знание. Пользуясь этим правом, пашенные крестьяне Спасского и Томского подгородных полей в феврале 1648 г. решили бить челом о своих бедах государю Алексею Михайловичу. А отправлять челобитные через приказную избу положено. Мимо нее дороги на Москву нет. Вот и пришли они к первому воеводе. О том, как он их принял, повествует вторая челобитная, которую отправил месяцем позже в Москву по их «плачу» Илья Бунаков: *«И мы, государь, сироты твои, от ево, князь Осиповы, изгони до конца обнищали и в съезжей избе тебе, государю, подали челобитную о своих нуждах и ему, князю Осипу, били челом. И он, князь Осип, тое челобитие принял, и вычел, и изодрал, и кинул под ноги, и учал топтать ногами. А нас, государь, сирот твоих, из съезжей избы велел вон выбить. И мы, государь, сироты твои, ему князь Осипу, били челом, чтоб отпустил от нас челобитчика по своих нуждах, бити челом к тебе, к государю, к Москве. И он, князь Осип, тех наших челобитчиков к тебе, к государю, к Москве, не отпустил. А говорил так: “Я де здесь не Москва ли?”»*.

Во имя государя

А еще в Соборном уложении каждому давалось право на «государево слово и дело» против изменников, наносящих вред царскому имени и всему государству своими «зловредными деяниями». Этим правом и воспользовался бывший патриарший стольник Григорий Плещеев-Подрез, сосланный из Москвы за мошенническую игру в зернь, торговлю запрещенным «колмацким шаром» (табаком), «винишком и продажными жонками». В Томском городе он свои привычки не забыл, а еще больше погряз в «корысти и блуде». По требованию жилецких людей, обманутых Подрезом, Осип Щербатый «вкинул» его в тюрьму. А тот, зная, что недовольство томичей первым воеводой достигло точки кипения, решил объявить на него «государево слово и дело». Глядишь, своя вина, как с пострадавшего от «изгони и самодурства» князя Щербатого, с него и снимется.

Через одного из тюремных приставов Подрез передал на волю, что готов прилюдно выступить с «государевым заводным делом» на «воровского воеводу». И не где-нибудь, а непременно у приказной избы.

Весть об этом тотчас разнеслась по городу. И вот 12 апреля 1648 г. у съезжей избы стали собираться конные и пешие казаки, посадские и торговые люди не только из томской, но и из других сибирских крепостей.

А дальше, как отписали впоследствии государю очевидцы этих событий, «учинилось» вот что: *«И воевода князь Осип Щербатой с товарищи послал к нему, Подрезу, денщиков, и велел ему быть к съезжей избе. И он прискакал на лошади и, скоча с лошади, прибежал на крыльцо. А воеводы в то время стояли на крыльце. И он, Подрез, ухватился за нож, хотел воеводу князя Осипа Щербатого резать. И наша братья, мы, холопи твои, отнели — не дали резать»*.

Поведение Подреза до крайности возбудило собравшихся на площади у съезжей избы. Сторонники князя Щербатого, видя, что они оказались в

явном меньшинстве, «лаяли» проходимца Гришку Подреза «непригожими словами», но делали это с оглядкой, вполголоса. Противники князя, напротив, одобряли и подзуживали возмутителя спокойствия, забыв на время, что сами от Подреза еще недавно стонали. Ненависть к Щербатому ослепила их. Вовсе они перестали сдерживаться, когда Подрез начал обличать первого воеводу. Особенно казаки во главе с Васькой Мухосраном, прозванным столь «непригоже» за свой вздорный характер. Их поддержали дети боярские Федор Пущин (тот самый, что в 1632 г. ходил на Бию и Катунь казачий острожек ставить), Юрий Едловский, Михаил Яроцкий и Василий Ергольский, а также пятидесятник Иван Володимерец.

Сторонники князя Щербатого опишут впоследствии события этого дня весьма зримо: *«Васка Мухосран, Фетка Пущин... с товарищи почали нас... бить ослопьем и усечками городовыми. И били перед съезжею избою нас... Васку Старкова, атаманишка казачья Ивашка Москвитина, да конных казаков десятника Поспела Михайлова».*

Итог событиям того дня подводит еще одно свидетельство: *«В Томском городе учинилась смута большая, воеводе князь Осипу Щербатого томский сын боярский Фетька Пущин да пятидесятник Ивашко Володимерец с товарищи своими скопом и заговором отказали и в съезжую избу ездить ему не велели. И ныне де воевода князь Осип Щербатый сидит от них в осаде, никуда з двора не ездит».*

Власть в городе перешла ко второму томскому воеводе Илье Бунакову, дьяку Борису Патрикееву и мирскому кругу во главе с зачинщиками бунта. Приказную избу они тотчас перенесли из города на посад, в дом конного казака Девятки Халдеева, «взяли на себя» государевы погреба, посольский двор, таможню, тюрьму, аманатскую избу, все казацкие и посадские службы. Самых зловердных сторонников князя Щербатого во главе с Петром Сабанским (это он в 1633 г. первым вышел со своим отрядом к Телецкому озеру) в темницу упрятали. Повольничали и будет! Пусть посидят, пока государевы люди с лихоимствами первого воеводы разберутся. А чтобы все было по закону, постановили челобитчиков в Москву к государю Алексею Михайловичу отправить. Пусть знает, что «всех чинов томские люди» для того князя Осипа Щербатого от воеводства отстранили, чтобы он здесь не «государился», царское имя своими «неправдами» не пятнал. А если что-то не так сделалось, то пусть государь Алексей Михайлович не судит строго своих холопей, а поправит их великодушно, велит разобраться во всем по справедливости.

За челобитными от крестьянской общины, казачьего круга, посада, князьков и мурз одиннадцати ясачных волостей дело не стало. К ним решено было приложить *извет* (допросные речи) Григория Подреза и челобитную от имени томичей всех сословий «за их руками» (с подписью каждого). Сбирать подписи отправили новых подьячих с казаками.

Обойдя посад, они и на Воскресенскую гору к строителям детинца завернули. Здесь кипела работа. Вот уже пять месяцев она не прекращалась ни на один день. Так поставил дело Петр Терентьев. Договор найма, отданный на хранение казачьему голове, не простая бумажка — это совесть мастеровых

людей. Воеводы приходят и уходят, а сотворенное душой и даром Божиим долго еще будет людям служить, глаз радовать...

Глянув на башни и тарасные стены, которые плотники уже успели поставить, посыльные Бунакова и его советников поневоле замерли. Новые башни куда как выше и приглядней прежних. И стены не из отдельных срубов-городен составлены, а сплошным пряслем рублены. Нижняя половина бревнами забрана, верхняя открыта. На тарасы (ячейки) их поперечные перерубы делают. Те же городни получают, но прочно между собой сцепленные. От этого у них и вид другой, более узорный и внушительный.

Полюбовавшись работой плотников, посыльные вспомнили, зачем пришли. Начали с уставщика артели Терентьева. Под общей челобитной он, пусть и нехотя, свою закорючку поставил, а под изветом Подреза поначалу отказывался. Уж очень Гришка человек негожий. Даже если он прав, рядом с ним быть не хочется. Однако под нажимом посыльных написал: «К сем воровским речам руку приложил». А надо было: «К сем распросным речам...»

Те возмутились:

— Да ты никак пособник Щербатого? Или умишком не тверд? Глянь, какую бумагу испортил.

— Я не нарочно, — заоправдывался Терентьев. — Худенько пишу, вот и прошибся.

— Сказал бы лучше: дружа князю, прошибся.

— Я другое скажу, — огрызнулся градодел. — Коли князь плох, то и смятение, которое вокруг него поднялось, не лучше...

Слово за слово, и вот уже посыльные его на тюремный двор ведут, а тюремщик в кандалы, будто государственного преступника, заковывает.

Больше недели Терентьев в темнице просидел. Допрашивать его приходили холоп дьяка Патрикеева и новый подьячий. Ничтожные людишки. Пытками страдали, взятку в сто рублей вымогали и «правильную» подпись под изветом Гришки Подреза. Пришлось уступить, ведь, пока он в заклепе сидит, ставление детинца на Воскресенской горе не движется. Правда, взятку удалось уменьшить до пятидесяти семи рублей, зато на прощание «супостаты» Терентьева выпороли: дескать, пусть знает, какова новая власть.

Отлежавшись дома после тюремной порки, он вернулся к своим обязанностям. Плотники встретили его радостно: без уставщика дело застопорилось. Дожидаюсь его, они решили ни к лагерю Бунакова — Пущина, ни к лагерю Щербатого — Сабанского не примыкать. Дело превыше всего!..

Тем временем мирской круг отправил в Москву своих челобитчиков в главе с Федором Пущиным и десятником Семеном Поломошным, а в Кузнецкий, Енисейский, Красноярский и Нарымский остроги послали грамоты тамошним казакам и пашенным крестьянам. В них говорилось: «Из Томска города пошли бити челом праведному государю тридцать человек служивых людей, а пашенных два человека, оброшных два человека, и тотар два человека, а остяков восемь — бити челом на князь Осипа Ивановича Щербатова. И вам какая изгоня от ваших воевод, и вы бей-



те челом на них с советниками всеми государю. И будет вас не станет отпущать воевода бити челом государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Руси, и вы ссылайтесь на Томской город: есть в Томском городе государева грамота блаженные памяти царя государя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси за веслою печатью, и та грамота указывает на Томский город и на пригоротки, и та грамота лежит у Божоявления в казне у старосты. И будет какая изгоня от воевод, и вам бити челом государю всех чинов люди. И которые у нас в Томском ево советники бунтовали князь Осипу Ивановичю на весь город и на всех чинов людей, и тех ево советников миром перебили и в тюрьму пересажали, Петра Сабанскова с товарищи, дватцать два человека. И будет вы ноне не поедите бить челом ко государю, и вам такова времени не дождались, и детям вашим. И прочеть та грамотка на площади».

По меркам правительства, это был бунт, а по меркам тех, кто его возглавил, — глас народный. Не против государя они поднялись, а во имя государя, не бунтовать, а утраченный при «воровском воеводе» и его пособниках порядок навести.

И они стали его наводить, ни времени, ни сил, ни себя не жалея.

Много вопросов разом встало перед мирским кругом. Ну как, например, с плотницкой артелью Петра Терентьева быть? Распустить, а на ее место, как прежде, отработчиков согнать? Поздно. Деньги за работу древоделам вперед уплачены, и детинец на Воскресенской горе наполовину срублен, да такой, что любо-дорого посмотреть — шапка сама с головы падает, когда на него любуешься. Отработчики так сделать не сумеют. С другой стороны, служилых людей, с которых жалованье за минувший год на поставление детинца Щербатый удержал, нельзя обижать. Челобитчикам, посланным в Москву, оно из городской и церковной казны уже выдано. Остальным придется недодачу за счет *животов* (имущества), взятого при аресте у князя и его прихлебателей, восполнять. Долг платежом красен. За ними на очереди пашенные крестьяне, жилецкие и оброчные люди. Они от найма плотников куда меньше пострадали, но и они правды мирской ждут.

Другая беда — воровская перекупка хлеба нарымскими и прочими торговцами, завышение цен на муку и овощи. Распустил Щербатый своих заворуев — дальше некуда. Пора им укорот дать, чтобы низы от вечных поборов хоть немного вздохнули.

По жалобам крестьян на место приказчика Василия Старкова, хапуги и притеснителя, мирской круг поставил двух выборных казаков, сократил размер десятинной пашни, отменил многие «изделия» и повинности посадских и ясачных людей, стал наводить порядок на «колмацком торге».

А в городе мирской круг караулы спешно усилил, прежде всего у дворов Щербатого и Сабанского, у зеленого (порохового) погреба, пушных, соляных и хлебных складов, а в предместье послал дополнительные заставы и сторожевые разъезды. Им велено «беглых, торговых, и промышленных, и гулящих людей, и рыбных ловцов с неводы и з сетми асмаатривать, чтоб ис Томского города без отпуску и без проезжих и без воеводские печати никто не проезживал».

Не стали на этот раз новые городские власти томичей на службу в енисейские земли и на реку Лену отправлять, выдали «подгородным» крестьянам и посадским людям пищали, чтобы в случае нападения им было чем обороняться, отправили в Тобольск за хлебным и денежным жалованьем несколько дощаников, а в Москву собранную с ясачных людей пушнину и еще немало дельных текущих распоряжений сделали...

По душе томичам пришлось такие перемены. По-другому стали они смотреть на казацких вожakov, в том числе на Ваську Мухосрана. Оказалось, не такой уж он никудышный, как считалось прежде. Быстрый, смекалистый, за любое дело берется с охотой. И сапожник отменный. Всем, у кого обувка прохудилась, задаром ее починивает. Оттого и появилось у него второе, «человеческое» имя — Васька Сапожник.

А вот к Бунакову уважения не прибавилось. Он хоть и первый воевода теперь, но очень уж несамостоятельный. Делает все, как «мирские советники» ему скажут, но с оглядкой, с оговорками, боязливо. Вестей из Москвы от Федора Пуштина ждет, чтоб под то решение подстроиться, которое там вынесут.

А Петр Терентьев не стал ждать. Составил он, как и намеревался, явку (жалобу) на тех, кто его под изветом Подреза и общей челобитной государю заставил руку приложить, а после в тюрьме «без дела» держал, из-за чего работы на ставлении детинца более недели не велись. Про взятку людям дьяка Патрикеева тоже написал, просил взыскать с них 57 рублей, когда «дело откроется».

Вместе со своим артельщиком явку подписали плотники Лука Пичугин и Петр Путимцев. Один ее список (копию) они передали на хранение в Благовещенскую церковь, другой — находящемуся под домашним арестом князю Щербатому, чтобы тот переправил ее в Москву. Но явка попала в руки Бунакова. Пичугину было назначено «с полтора ста ударов да семь стрясок» и «три стряски» Терентьеву. Что это было за наказание, в документах не сказано, но, судя по тому, что после него градодел долго «обмогался», оно было весьма жестоким.

Однако и на этот раз, «одыбавшись» после пытки, Терентьев поспешил на Воскресенскую гору. В июле же скоропостижно скончался обидчик Терентьева и Пичугина дьяк Борис Патрикеев. Плотники восприняли это как возмездие за свои муки.

«Стоять всем заодно»

Глубокой осенью, когда плотницкой артели Петра Терентьева только и осталось бойницы «на городских воротах, на притворах и на стенах» детинца прорубить, стали приходиться на Томь поразительные вести. Если верить им, то в Московском государстве *«учинилось от стрельцов и от черных людей большая шатость, и многих государевых бояр, и окольничих, и думных дьяков, дворян московских и стольников, и стряпчих побили и дома их разграбили... И на Москве де государь сам выходил на Лобное место, упрашивал у черни чтоб ево ближнего боярина Бориса*

Морозова не убили. И для того ево, Бориса Морозова, велел сослать на Белоозеро».

Следом пришли вести, которых в Томском городе особенно ждали. «А как де приехали к Москве челобитчики, Федька Пуштин с товарищи, в самое смятение, как всколыбалася чернь на бояр, и их де, Федьку Пуштина с товарищи, роспрашивал государь сам и жаловал де их сукнами да дорогами, и дано де им государево жалованье, корм большой и выход».

Возликовали томские низы. Значит, не только они на своих заворуев ополчились, но и Москва, и Великий Устюг, и Чердынь, и Соликамск и другие российские города, а в Сибири Нарым «встрепенулся». До того дело дошло, что сам царь Алексей Михайлович на Лобное место вышел и правду обиженного люда признал. Коли он любимого своего боярина Морозова не пожалел, то за князя Щербатого и вовсе держаться не будет. Пора «воровскому воеводе» в ссылку собираться, ох пора! Неповадно ему там кричать будет, что томские казаки «хотят Дон заводить вверх по Оби-реке и вверх Бии и Катуня». Они его уже здесь завели...

Однако рано обнадежились сторонники мирского круга. Сделав немало уступок по жалобам томичей, касавшихся жалованья, отработок, пошлин и других подобных вопросов, Сибирский приказ прислал с Федором Пуштинным распоряжение: назначить новыми томскими воеводами князя Михаила Вольнского и Богдана Коковинского, а до их прибытия, забыв все распри и самовольства, «досиживать» Осипу Щербатому в товарищах с Ильей Бунаковым. Любая попытка воспротивиться этому решению будет строго наказана.

Понимая, что возвращение во власть Осипа Щербатого может встретить сопротивление мирского круга, составители государева указа вписали в него еще несколько пунктов. Речь в них шла о том, что по требованию служилых и градских людей суд над Щербатым непременно состоится. Предварительное следствие приказано провести новым воеводам. Иски собрать и отправить для сохранности в Тобольск, Григория Подреза арестовать, Петра Сабанского и других, задержанных «по дурости» Бунакова, освободить. Все должно быть по закону, коли они «во имя государя» поднялись.

И снова томский люд «всколыбался». Как писано в одной из челобитных того времени: *«Илья Бунаков и многие томские казаки, выслушав тот твой государев указ, тому твоему государеву указу учинились ослушны: сказали, что де им у нас, холопей твоих, у Оски, под судом никакими мерами не быть, а быть у них начальным человеком Илье Бунакову; а Петра де Сабаньскова с товарищи ис тюрьмы им не выпускать, побьют де ево, Петра Собанскова с товарищи, до смерти и в воду помечают; а Григорья де Подреза Плещеева в тюрьму они посадить не дадут... и старую приказную избу не распечатают».*

Федор Пуштин и другие челобитчики, ездившие с ним в Москву, вернулись в Томской город в апреле 1649 г., а уже в июне вновь отправились к государю. Следом, «по тому же делу», поспешили семь казаков во главе с



десятником Аггеем Чижовым. Они везли челобитную, которую нельзя не процитировать: «Как, государь, изначала после Ермакова взятъя Сибирь стала и твои государевы многие сибирские города и Томской город поставлен и прежде, государь, Томсково и в Томском городе отцы наши и братья и мы, холопы и сироты твои, и детишка наши служили бывшим государям царям... лет по тридцати и по сороку и по пятидесять и больше... И многие, государь, города и остроги в Сибири после Ермакова взятъя поставили своими головами и многия немирные орды под твою царскую высокую руку приводили и твое государево цареве крестное целованье исполняли... А ныне, государь, мы, холопы и сироты твои, не ведаем, за какую нашу вину и прослугу он, князь Осип... с своими с советники с Петром Сабанским с товарищи, умышляючи своими заводными умыслы, завели и писали к тебе, государю, на нас, холопей и сирот твоих, многое воровство и измену и многие воровские затейные статьи... А прослуги, государь и измены и шатости никакие в нас преж сего не бывало. Да и впредь, государь, мы, холопы и сироты твои... рады служить и прямити своими головами... Возри, государь, помазанник божий, своим праведным милосердием, вели, государь, нас, холопей и сирот твоих, от ево, князь Осиповы, изгони и насильства оборонить».

Прежде всего, эта челобитная дает почувствовать гордость томских служилых людей за дела отцов своих, соратников и последователей атамана Ермака, преданность Отчизне, которая благодаря и их трудам продолжала «прирастать Сибирью». Однако есть в этой грамоте не менее важный подтекст. Томичи знали, что Ермак со своей дружиной «самовольно» перешел Уральские горы и «страхнул» Кучум-хана с Сибирского царства, которое тот захватил уже после того, как оно стало «за спину Москвы». Иван Грозный тогда это «самовольство» Ермаку простил. Так неужели Алексей Михайлович не простит томичам смещение князя Щербатого, который повел себя не лучше коварного Кучума?..

Увы, до царя эта челобитная так и не дошла, хотя в его руках и побывала. О том, как это случилось, повествует рассказ одного из участников тех событий: «И на завтра был ход праведному государю к Михаилу архангелу, и подал челобитную государю на Красном крыльце Кузьма Мухостран (брат Васьки Мухосрана-Сапожника) и бил челом государю изустно. И тут боярин Алексей Никитич Трубецкой (глава Сибирского приказа) за то воскручинился, велел ево, Кузьму, взять стрельцам, да свести в тюрьму, да и всех нас за то велел в тюрьму посадить. И мы ныне сидим в темнице, посажены в Дмитриевскую субботу (20 октября 1649 года), помираем голодной смертью, а житью своему конца не ведаем».

Откуда им было знать, что уже восьмого августа в Томской город прибыли новые воеводы и, приняв по росписи город и острог у своих предшественников, отпустили Осипа Щербатого «к Москве»? (Шестнадцать месяцев провел он в домашнем заточении.) Не могли они знать и того, что на сей раз Илья Бунаков подчинился воле Сибирского приказа и этим противопоста-

вил себя мирскому кругу, что в Москву уже ушло сообщение о том, что за прежнее неповиновение он бит на тюремном дворе кнутом. На самом деле заменивший его на посту второго воеводы Богдан Коковинский (его сестра была замужем за братом Бунакова) велел поднять свояка на козлы и «бить притворно»...

Следствию и сыску по делу о злоупотреблениях Осипа Щербатого и правда был дан ход, но длились они так долго и вяло, так хитроумно, что на судьбе князя никак не отразились. Уже вскоре он попал в свиту царя, затем был назначен головой государева полка, еще позже получил думный чин окольничего, возглавлял кремлевский гарнизон, а под конец жизни стал первым воеводой Архангельска.

Это и понятно. Своих людей любая власть старается не сдавать: ей ведь надежная опора нужна. Однако, судя по всему, Осип Щербатый отличался не только алчностью, но и творческим честолюбием, редкостной энергией и государственной сметкой. Подтверждение тому — его послужной список и томский детинец, возведенный во многом его стараниями. Князь заслуженно гордился им. Сообщив в Москву в октябре 1648 г., что новый город с божией помощью поставлен, он не удержался и добавил: «И такова, государь, города образцом в Сибири... нет».

О том, как выглядел Томский кремль, сегодня можно судить только по археологическим раскопкам на Воскресенской горе да по картинам художников И. Х. Берхана и И. В. Люрсениуса, участников Второй Камчатской экспедиции. Но то, что это было великолепное по мастерству замысла, качеству работы и воплощению сооружение, следует из «Описания Томского уезда», которое в 1734 г. составил знаменитый историк и путешественник Герард Миллер. По его мнению, при небольшом ремонте эти укрепления могли бы и дальше «выполнять свое назначение». Так оно и случилось. Томский детинец прослужил еще полвека.

Благополучно сложилась и судьба Ильи Бунакова. Во время войны с Польшей он служил в государевом полку, начальником которого одно время был его «супротивник» князь Щербатый. Помирились они или нет, история умалчивает.

Григорий Подрез в прежнем чине сына боярского был отправлен служить в Якутский острог, но «за оскорбление памяти государя Ивана Грозного и похвальные высказывания в адрес поляков» вскоре разжалован в рядовые казаки и переведен в Ангарский острожек. Оттуда сослан в Енисейск, где и окончил жизнь в тюремном «заклепе».

Что касается «мирских советников» Бунакова и самых деятельных участников томского бунта, то многие из них в ходе следствия и сыска на князя Щербатого были признаны виновными, «биты на козле и в провотку кнутом нещадно».

А плотницкая артель градодела Петра Терентьева до новой «государевой надобности» растворилась среди казаков и стрельцов, посадников и пашенных крестьян, ясачных и гулящих людей. Их дело простое — «чудеса заживо творить». Чаще всего безымянно.

Державцы

Сосновский острог в Среднем Притомье выпало ставить вчерашним друзьям-недрузгам Дмитрию Копылову и Юрию Едловскому.

С атаманом Копыловым в этом повествовании мы уже встречались. Это его отряд в 1638 г. срубил на Алдан-реке Бутальский острожек. Это его со-начальник Иван Москвитин со товарищи год спустя разведал путь к Охотскому морю. К этому следует добавить, что был Копылов не только отважным землепроходцем и умелым строителем, но и опытным дипломатом. Как посол Томского стола побывал на Алтае и в «Братской землице» (Бурятии), у Алтын-хана монгольского и «Богдойского царя» (Даурия).

Немало похвального можно сказать и о Юрии Едловском. Сын ссыльного казака «литовского списка», службу свою он начинал в Томском городе. Отличился во многих ближних и дальних походах. Основал в Притомье пашенное село Иткаринское. В одной из челобитных, писанных его рукой, читаем: *«Досяг тех мест, где преж меня никто не бывал... Ходил з добром, а не с войною и не з боем»*. Так вот и вышел в пятидесятники. А затем, в одно с Копыловым время, чин сына боярского получил, иными словами, попал в сословие мелких служилых дворян. Так бы и служить им рука об руку, если бы Осип Щербатый не восстановил против себя томских людей всех сословий, а те ему «от государских дел» не отказали. Копылов не раздумывая поддержал опального князя, скорее всего, по пословице: кому служу, тому и дружу. А Едловский, воспитанный в духе западного свободомыслия, встал на сторону мирского круга.

Началось долгое и ожесточенное противостояние, не раз сопровождавшееся насилием. То Копылов был жестоко сечен на козле восставшими, а его семейство подверглось грабежу и разбою. То Едловского *«били насмерть обухами, и буловами, и кистенями, и ослопы, и переломали у него руки и ноги, и голову испроломали, и бороду всю выдрали и покинули замертво»*. После этого он *«одет был овчиною сырою недели з две, едва излечили»*.

Можно себе представить, какой след в душах вчерашних сподвижников те драматические события и лукавый царский суд оставили. Несколько лет Копылов и Едловский стороною друг друга обходили, благо службы у них все больше дальние, между собой мало связанные. Но время и не такие раны залечивает.

Как-то раз получил Копылов задание: место для новой государевой пашни в Притомье сыскать и «крестьянский острог» близ нее поставить. Население Сибири на глазах росло. Его кормить надо. Житейские заботы здесь заметно потеснили военные. А казак по натуре не только воин, но еще и земледелец. Такое задание ему не в тягость, а в радость.

Вот и возревновал Едловский: почему не на него выбор пал? Чем он хуже? Да если на то пошло, он хоть сейчас готов наилучший участок для хлебного острога и государевой пашни указать: на правом берегу Томи, там, где речка Сосновка в нее впадает. Берег в этом месте крутой, высокий, земли тучные, строевого леса вволю. Лет тридцать назад томский сын боярский Петр Сабанский там сторожевую станицу устроил, да не прижилась она,





осталась в стороне от набитой дороги в кузнецкие земли. Ныне это глухой угол. А зря. Стоит приложить к нему руки, и превратится он в богатейшую житницу.

Мириться — не ссориться. Тут и одной улыбки может хватить, доброго слова, сокровенного воспоминания. У Копылова с Едловским и того, и другого, и третьего, слава богу, хватило. К октябрю вскинули томские казаки под их началом многоугольный Сосновский острог* с тремя дозорными башнями. Внутри срубили шатровую Спасскую церковь, государевы амбары и погреба поделали, жилые клетки для казаков, а все остальное: двор приказчика, судную избу, дворы для земледельцев — вынесли за охранный частокол. Этим «крестьянский острог» от прочих и отличается. С одной стороны, это военная крепость, с другой — обычная пашенная слобода.

В следующем, 1657 г., скорее всего вновь под началом Копылова и Едловского, на границе Томского и Кузнецкого уездов был сооружен Верхотомский острог**. Название его красноречиво: Верхотомский — то есть поставленный выше по Томи.

Поначалу Верхотомский острог был военной крепостью с четырьмя угловыми башнями и одной проездной воротной. Главным его назначением было защищать Нижнее Притомье от набегов кыргызов, черных калмыков и Казахской орды. Но со временем и он превратился сначала в «крестьянский острог», а затем в обычное пашенное село. Об этом говорят вынесенные за его стены Воскресенская церковь и дворы верхотомских земледельцев.

В отличие от Юрия Едловского его товарищ по мирскому кругу сын боярский Федор Пушин вместе с другими зачинщиками томского бунта был сослан в Якутск. С его именем связано основание первого русского поселения в Приамурье — Аргунского зимовья***, поставленного в устье реки Маритки, впадающей в полноводную Аргунь.

Четверть века спустя на месте сожженного князем Гантимуром зимовья отряд другого «выученика» Томского города сына боярского Игната Милованова срубил Аргунский острог. Возле него была заложена государева пашня, а затем найдены залежи серебряной руды.

Об Игнате Милованове следует сказать особо. В Томске он прослужил более десяти лет. Служил бы и дальше, если бы енисейский воевода Афанасий Пашков не получил из Москвы приказ набрать четыре сотни казаков и стрельцов из Томска, Тобольска, Тюмени, Березова, Енисейска и отправиться с ними осваивать «задальнее» Приамурье. Давно мечтал Милованов попасть в неведомую страну Даурию, а тут подходящий случай выпал. Вот и напросился он вместе с товарищем своим Иваном Поршенинниковым в отряд к Пашкову. Слышал, что человек это смелый, деятельный, бывалый, огни и воды прошел — с таким не пропадешь. Правда, нравом крут, поозоровать любит, то бишь власть свою показать, но на то он и поставлен, чтобы порядок при нем неукоснительно соблюдался.

* Теперь деревня Сосновый Острог Яшкинского района Кемеровской области.

** Теперь село Верхотомское Кемеровского района Кемеровской области.

*** Ныне село Аргунск Нерчинско-Заводского района Читинской области.

А еще Пашков получил указание сопроводить «во глубь Сибири» высланного сначала в Тобольск, а затем в Енисейск опального протопопа Аввакума Петрова с семьей. Благодаря «Житию» этого великого бунтаря и другим историческим документам мы имеем возможность в полной мере прочувствовать, как труден был путь отряда Пашкова в страну Даурию.

На сорока дощаниках поднялся он по Верхней Тунгуске (так называлось тогда нижнее течение реки Ангары) до Братского острога и, перезимовав там, отправился дальше через озеро Байкал по Селенге и реке Хилоку до Иргень-озера. Там на водоразделе рек Ингоды и Хилока вместо разоренного тунгусами русского зимовья Пашков велел казакам срубить Иргенский острог и, оставив в нем десять «годовальщиков», двинулся по реке Ингоде до Телембинских озер. На берегу реки Конды, берущей начало в одном из них, отряд Пашкова соорудил еще один острожек — Телембинский, «кругом в 32 сажени», с часовней на воротной башне, домом приказчика и жильем для «годовальщиков». Третий острог поставлен был на левом берегу реки Шилки за версту до устья реки Нерчи. По ней он и стал называться Нерчинским острогом. Игнат Милованов был в ту пору одним из десятников томских казаков.

Трудности похода и строительства трех острогов усугубили самодурство Пашкова. Не умея удержать своих подчиненных в повиновении заботой, доброжелательным отношением, собственным примером, он истязал их бесконечными придирками и жестокими наказаниями. А тут в его власти оказался еще и беззащитный Аввакум с многочисленным семейством. Появилась возможность за все свои дорожные неудачи отыграться на них. Вот лишь небольшой отрывок из «Жития протопопа Аввакума», дающий представление о том, в каких условиях строились остроги: *«Лес гнали хоромный и городской. Стало нечева есть, люди учали с голоду мереть и от работныя водяные бродни. Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные: лиши станут мучить — ано и умрет! Ох, времени тому! Не знаю, как ум у него (Пашкова) отступился. <...> Все люди с голоду поморил, никуды не отпускал промышлять, — осталось небольшое место; по степям скитающиеся и по полям, траву и коренья копали, а мы — с ними же... И у меня два сына маленьких умерли в нуждах тех. <...> Но помогала нам по Христе боярыня, воеводская сноха, Евдокея Кириловна, да жена ево, Афонасьева Фекла Симеоновна: оне нам от смерти голодной тайно давали отраду, без ведома ево, — иногда пришлют кусок мяса, иногда колобок, иногда мучки и овсеца, колько сойдется, четверть пуда и гривенку-другую, а иногда и у куров корму из корыта нагребет».*

Семь лет довелось томичам и другим западносибирским казакам бок о бок провести с Аввакумом Петровым. В походе он варил для них кашу, лечил заботой и добрым словом. Испытывая силу его воли, воевода Пашков заставлял протопопа вместе с другими послужильцами переволакивать по обмелевшим студеным рекам громоздкие дощаники, а зимой с малолетними сыновьями тащить по глубокому снегу тяжело нагруженные нарты, валить и

сплавлять лес для строительства острогов, промыслять «для пропитания» зверя, птицу и рыбу, делать еще много других разных дел, зачастую ненужных, издевательских.

Протопоп стоически переносил выпавшие на его долю мучения и только однажды не выдержал. «Владычице, — взмолился он, — уйми дурака твоего Пашкова!»

За что тут же был наказан.

Опомнился Пашков лишь после того, как тяжело заболел его внук Симеон. Принесли младенца в холодное сырое зимовье занедужившего по весне Аввакума: лечи! Тот с трудом встал, надел епитрахиль, священным маслом Симеона помазал и начал молитвы нашептывать. И так он был в них горяч и чистосердечен, что «робенок, дал бог, опять здоров стал». Узнав об этом, Пашков низко поклонился протопопу и сказал: «Спаси бог! отечески творишь, не помнишь нашева зла».

Свое противоборство с воеводой Пашковым протопоп Аввакум оценил весьма своеобразно: «Семь лет он меня мучил или я его — не знаю; бог разберет в день века».

Получив дозволение вернуться на Русь, протопоп Аввакум забрал с собой старых, больных и раненых — сколько уместилось на выделенном ему дощанике. А еще прихватил дрянного человечешку Василия, который при Пашкове, по словам Аввакума, *«на людей ябедничал и крови проливал и моя головы искал; в ыную пору, бивше меня, на кол было посадил, да еще бог сохранил! А после Пашкова хотели его казаки до смерти убить. И я, выпрося у них Христа ради, а прикацику выкуп дав, на Русь его вывез, от смерти к животу, — пускай его, беднова! — либо покаются о гресех своих. Да и другова такова же увез замотая... Ано за ним погоня! Деть стало негде. Я — су, — простите! — своровал: спрятал его, положи на дно в судне... Каково вам кажется? не велико ли мое согрешение?.. Судите же так, чтоб нас Христос не стал судить на страшном суде сего дела»*.

Следом и воеводе Пашкову «перемена пришла». Но его отъезд вызвал у казаков всеобщую радость. Наконец-то! Как заметил в своем «Житие» Аввакум: «Он в дощениках со оружием и с людьми плыл, а слышал я — едучи, от иноземцев дрожали и боялись».

Вскоре после отъезда Пашкова Нерчинский острог из-за частых наводнений пришлось перенести в устье реки Нерчи. На этот раз он строился продуманно, без спешки. Сначала казаки-древодельцы острожным частоколом береговой уступ длиной в 85, шириной в 70 сажений обнесли. Укрепили его наугольными и проездной башнями. Внутри поставили воеводский двор с необходимыми службами, снаружи — Воскресенскую церковь и дворы для земледельцев.

Наилучшим образом на этом строительстве показали себя Игнат Милованов и Иван Поршенинников. Под началом Игната Милованова была заложена первая государева пашня возле Нерчинского острога. А когда Нерчинск стал уездным центром русской Даурии, именно Милованов возглавил первое русское посольство в Китай. Затем, уже в Нерчинске, в чине

сына боярского, он подписал первый мирный договор с Китаем. Еще позже — продолжил дело опального земляка-томича Федора Пущина — построил на месте сожженного зимовья Аргунский острог. Еще один острог он намеревался поставить на том примерно месте, где стоит нынешний город Благовещенск. Но преклонный возраст и нездоровье помешали осуществить задуманное.

А Ивана Поршенинникова судьба из Даурии в Енисейский острог забросила, затем в Селенгинский. К тому времени острог этот заметно обветшал, покосился, огнил. Вот и взялся Поршенинников строить его заново. «Стоячий частокол» в одно бревно заменил рубленными в две стены «тарасами». В сторожевых башнях, крепящих четырехугольный палисад, велел сделать два ряда бойниц. Воротную башню с часовой поместил со стороны реки Селенги. Спасо-Воскресенскую церковь и жилые постройки вынес за острожные стены. Рядом с острогом Поршенинников заложил государеву пашню. Несколько лет он был здесь приказчиком. По тем временам это был не только распорядитель пашенных крестьян, но и сборщик пошлин и ясака, блюститель порядка. А поскольку первый торговый путь в Китай через Кяхту, Ургу и пустыню Гоби проложил тоже Иван Поршенинников, уважение к нему было полным и всеобщим.

«Томичи руки приложили»

А теперь вернемся в Томское Приобье. Вслед за Сосновским и Верхотомским острогами на высоком крутом берегу Оби, там, где в нее впадает река Уртам, томские казаки срубили очередной, на этот раз пограничный острог — Уртамский*.

Место это выбрано было не случайно. Еще в начале XVII в. кочевые калмыки устроили здесь удобный перевоз для своих стад и грузов. Позже к ним присоединились торговые бухарцы. Вот Сибирский приказ и решил взять его «под свой догляд». В 1684 г. «именем государя» в Томск было послано соответствующее распоряжение.

Ставить Уртамский острог выпало Юрию Соболевскому, в прошлом *жолнеру* (солдату) Речи Посполитой. «Иманный» в одном из многочисленных сражений с Россией, он вместе с другими пленными был отправлен в Москву. Там принял православную веру и, присягнув на верность русскому оружию, получил назначение в Томск казаком литовского списка. За тридцать лет добросовестной службы удостоился чина томского сына боярского (чины давались тогда непременно с привязкой к месту службы).

О том, как именно уртамские казаки осуществляли «догляд» на калмыcko-бухарском перевозе, сведений не сохранилось, зато точно известно, что первыми жителями Уртамского острога стали тридцать четыре крестьянские семьи. Скорее всего, они и помогали немногочисленному отряду Соболевского построить не только сам острог с двумя дозорными башнями, съезжей избой и домом приказчика, но и Вознесенскую церковь. А весной следую-

* Теперь село Уртам Кожевниковского района Томской области.

щего года распахали возле острога «государево хлебное поле». Так вот и стал пограничный острог «крестьянским».

Двенадцать лет спустя казаки из отряда другого томского служилого «литвина» Степана Тупальского в восьми верстах от переправы через реку Каштак у подножья безымянной горы в Кузнецких землях наткнулись на россыпь серых, ничем не примечательных камней. В другой раз они бы на них и внимания не обратили, но тут один из казаков всполошился:

— Стой, братцы! А ну как это серебряная руда?! Ей-богу, похоже.

— Тебе-то откуда знать?

— Родитель мой рудознатцем был — вот откуда. И я с ним, бывало, хаживал.

— Что бывало, то пропало, — заухмылялись казаки, но тут же посерьезнели. — Однако приглядеться не мешает. А вдруг твоя правда? Серебро — дело не шутейное.

Сын рудознатца поднял с земли несколько серых осколков и стал их до тошно осматривать. Потом тяжело вздохнул:

— Вроде она... Но без плавки трудно сказать. Кабы кузнеца с горном найти, другое дело.

Кузнеца нашли в пашенной слободе у реки Тисуль, в которую Каштак впадает. Измельчив камни, тот растопил их в выварной печи и подтвердил, что серебро в них и впрямь есть.

Степан Тупальский сразу сообразил, какая удача ему выпала. Тем же часом он наладил в Томской город посыльных с образцами каштацкой руды. Часть из них велел передать воеводам, другую — своему отцу, Юрию Тупальскому. Он хоть и в отставке, но влияние имеет немалое, торговыми и промышленными делами успешно кормится. Уж он-то сообразит, как находку в Кузнецких землях к своей пользе повернуть.

В отличие от Юрия Соболевского Юрий Тупальский (настоящее его имя — Горий) добровольно «отъехал» в Россию. Потому и начал свою службу не рядовым казаком, а воеводой Галича. Затем был переведен в Сибирь на более скромную должность — томского сына боярского. Однако и тут не затерялся. Послужильцы «иноземного списка» признали его старшим в своем кругу. А там и сыновья Гория в возраст вошли, вслед за отцом чин детей боярских получили, стали ему надежной опорой. Кроме того, ближайшим приятелем Гория Тупальского числился торговый грек Христиан Левандиан, имевший хоромы в подгородном посаде и три лавки на гостином дворе. Однако мало кто знал, что, прежде чем попасть в Томск, Левандиан был известным мастером-серебряником в Ярославле. Как он в Сибири оказался, история умалчивает. Зато все дальнейшие события без труда в общую картину складываются.

Строить Каштацкий острог* выпало, конечно же, Степану Тупальскому и его младшим братьям, а налаживать добычу серебряной руды греку Левандиану. Одна из четырех башен этой небольшой частокольной крепости стала его избой-горенкой. Напротив нее разместилась кузница для плавки руды и

* Село Каштак Тисульского района Кемеровской области.

полуземлянки для «заводских трудников». Чуть дальше столпились избы служилых людей, казенные амбары и погреба. Воротную башню украсила часовня в честь Трех Святителей. Приказная изба уместилась в третьей сторожевой башне. А для помывочных бань места в остроге не хватило. Пришлось срубить их на берегу реки Каштака...

Тут у читателей может возникнуть вопрос: почему река в Кемеровской области и один из исторических холмов в Томске называются одинаково — Каштак? Да потому, что тюркское слово *каш* имеет несколько значений. В одном случае это высокий плоский берег, без деревьев и кустарников, в другом — гора, место кочевья, пастбище. Каштак в Томске и был в свое время такой горой. Снег зимой с нее выдували северные ветры. Трава, ушедшая под снег, обнажалась. Вот татары-эуштинцы и пригоняли сюда пастись лошадей. А в названии реки, близ которой угнездился Каштацкий острог, подчеркивались прежде всего особенности ее берегов.

Увы, рудник просуществовал здесь недолго. Чем глубже становились шахты, тем меньше они давали серебра. Весной их заливали талые воды, осенью — обильные дожди. Не выдержав надсадной работы, рудокопы и плавильщики то и дело сбегали. Пришлось серебряные выработки забросить. Вместе с ними угас и «заводской» Каштацкий острог. Но не угасла память о том, что и к нему, как свидетельствуют летописцы, «томичи руки приложили».

Следующий острог они поставили на правом притоке Оби — реке Умреве. По ней проходила тогда южная граница Томского уезда.

Тюркское слово *умрева* означает «низина». Уже в самом названии хорошо просматривается эта неспешная, умиротворенно текущая по сибирским просторам луговая река, а вдоль нее низменные земли, как нельзя лучше подходящие для хлебопашества. Проточив высокий берег Оби, Умрева растворяется в ее темно-серых водах.

В 1703 г. чуть выше устья Умревы отряд томских казаков под началом сына боярского Алексея Крутликова срубил Умревинский острог*. В отличие от Уртамского он имел три дозорные башни, а его Трехсвятительская церковь была встроена в переднюю стену четырехугольного острожного палисада. Но так же, как и Уртамскому, ему суждено было стать «крестьянским» острогом.

А томский сын боярский Алексей Крутликов, отличившийся во многих походах и сражениях с немирными кыргызами, стал его приказчиком. Он провел здесь первую перепись местного и пришлого населения. Собранные им и его «грамотеями» сведения помогли очертить границы Умревинского стана, еще одной западносибирской волости.

В шести верстах от устья реки Чаус, тоже впадающей в Обь, проходил в то время набирающий силу Сибирский тракт. Он связывал Московское государство с Зауральем и рядом восточных стран, а сибирские крепости между собой и соляными Бурлинскими озерами. Как и на большинстве других торгово-перевалочных трактов, порядка здесь не было. То разбойная

* Теперь село Умрева Мошковского района Новосибирской области.

ватага засаду устроит, то кочевые племена набегут. Охотников до легкой поживы везде хватало. Вот и решили томские управители на месте деревеньки, незадолго до этого основанной отставным казаком Ивашкой Анисимовым, заслоном от набегчиков и воровских людишек Чаусский острог* поставить.

Кому поручить это ответственное дело, долго не раздумывали. Ну конечно же Дмитрию Лаврентьеву. Его отец Иван Большой Томской город чуть ли не с пеленок помнит. Он в приказной избе службу подъячим начинал, а к зрелым годам в дворяне выбился. Дмитрий же приказчиком Мелесского острога на реке Чулыме успел себя показать. Под его началом тамошние казаки не одну осаду енисейских кыргызов выдержали. Много у него и других заслуг, не только военных, но и строительных.

Лаврентьев и его казаки постарались на совесть. Отмерив пятьдесят сажень в длину и тридцать в ширину, поставили четыре глухие наугольные башни да «две башни с передними и задними проезжими воротами и три запускные решетки», а между ними заплот «рубленный в две стены с преградами и покрыт весь тесом». С особым старанием «собрали» казаки съезжую избу и жилье для приказчика. Не дом получился, а воеводские хоромы. Видать, знал Лаврентьев, что он управлять острогом и останется.

Так оно и случилось.

Уже через год возле острожных стен загудела пчелиным ульем Чаусская пашенная слобода. Первые дворы здесь поставили томские казаки. К ним стали подселяться крестьяне с реки Ишима, охотники на пушного зверя, гулящие, ссыльные, торговые и ремесленные люди. Работы всем хватало. Земли вокруг плодородные, начальство подходящее, а краше Ильинской церкви за сотни верст не сыскать. Кто по Сибирскому тракту едет, непременно помолиться к ней завернет.

Но самое примечательное в этой истории то, что Чаусский острог, построенный как военная крепость, за сорок с лишним лет о своем прямом предназначении так ни разу и не вспомнил. Нужды не было. Большинство проблем, раздиравших прежде многоплеменную и многонациональную Сибирь, стало возможным решать не силой, а мирными переговорами. Вот надобность в острожных укреплениях и отпала. Построенные наскоро, из непросушенного леса, они стали огнивать, рушиться, уступая место поселениям городского и деревенского типа.

Начался новый этап, не менее сложный и ответственный. Но прежде чем проститься с XVII веком, вспомним, что за сто минувших лет здесь сооружено восемьдесят восемь городов и острогов. Назначение у всех поначалу было одинаковое — военные крепости. Однако позже их стали различать и по другим признакам. Те, что поставлены у пашенных слобод, попали в ряд «крестьянских», те, что на пограничной и таможенной линии — в число «засечных». А были еще «заводские» и «торговые». Строительство каждого шестого из них напрямую связано с Томском, его начальными и рядовыми служилыми людьми, с его историей.

* Ныне поселок городского типа Колывань, центр Колыванского района Новосибирской области.

Томск многоликий

Правый берег Томи то поднимается, то полого спускается к воде, чтобы затем вновь устремиться ввысь и сделаться крутым. На много километров вдоль него протянулся старинный Томск. Ушайка делит его на две части, а те в свою очередь распадаются на несколько исторических районов. У каждого из них свой градостроительный рисунок, свой ландшафт, своя судьба.

По одну сторону Ушайки находились Пески, Заозерье и Черемошники, Болото, Кирпичи, Новая Деревня, по другую — Уржатка, Юрточная гора, Монастырское место, Бугор, Нижняя и Верхняя Елани, Заисточье. Они складывались в довольно пеструю и вместе с тем живописную панораму. Одни из них в этом повествовании уже встречались, с другими настало время познакомиться.

Под Песками разумелось самое удобное подгородное место с песчано-галечным наволоком в междуречье Томи и Ушайки. В «младенческие годы» Томска здесь, как мы помним, был поставлен, а затем обнесен острожной стеной Нижний острог, а возле него возникло торжище, ставшее со временем Базарной площадью. Трудно даже мысленно представить, сколько людей побывало здесь за минувшие столетия, и каждый принес сюда на подошвах частицу нового грунта. Песок и галька остались лишь на отмелях в устье Ушайки и на берегах Томи. Но и сейчас старожилы нередко именуют административный и культурно-исторический центр города Песками.

К Пескам примыкало Заозерье — приречная окраина, испятнанная цепочкой озер, одно из которых было проточным. Оно располагалось в районе нынешнего Центрального рынка, примерно там, где проходит переулочек Сухозерный. Дальше по берегу Томи буйно цвела черемуха. Позже, когда и эта низменная заливная часть города была заселена, ее стали называть Черемошниками. В Заозерье, а затем на Черемошниках селились в основном грузовые извозчики («ломовики»), мельники, кожевники и рабочие канатных мастерских.

Район по другую сторону от Воскресенской горы представлял собой низкую болотистую пойму в излучине Ушайки. Потому-то его и прозвали Болотом, а башню Томского города на Ушаевом бугре Отболотной (неподалеку от нее возвышалась еще одна — Мельничная, расположенная сразу над двумя городскими мельницами). Здесь селился гулящий и работный люд, весьма шумный, пестрый, драчливый. Привилегированной прослойкой здесь были портные, сапожники, гончары, точильщики, хозяева питейных и прочих заведений.

В Кирпичах, расположенных в той же речной излучине, преобладали, как и следует из названия, кирпичники. Глина для обжига была здесь такая, что за ней приезжали из других мест. Где ни копни, на залежь наткнешься.

А дальше, в Новой Деревне, обосновались переведенные сюда из Тобольска монастырские крестьяне. Не пожилось им под началом тамошних архиереев, вот и сочинили они царю челобитную, после чего его именем и велено было «отвести им для жительства хорошую землю».



А теперь окинем взглядом левобережье Ушайки. Устье ее с этой стороны томские татары называли Уржат, что значит «место впадения ручья или речушки в реку побольше». Это название они переняли у кетов, живших здесь прежде. Русские поселенцы тоже не стали его менять — лишь добавили в конце привычный суффикс *ка*. Получилось — Уржатка. Со временем так стал называться обширный участок городской площади. Он распространился до переулка, который носит ныне имя Г. С. Батенькова, и улицы А. А. Беленца (бывшей Подгорной) и включал в себя Конную площадь (район сквера у областного художественного музея и правого берега реки Ушайки — здесь прежде был конный торг). Место во всех отношениях удобное. Неудивительно, что его облюбовали купцы и ремесленники. Здесь торговали мануфактурой, скобяными товарами (замки, задвижки, крючки и оконные приборы), седлами и упряжью, инструментом и канцелярскими принадлежностями, мясом и бакалеей. А ремесленники плотничали, занимались кузнечным делом. Были среди них серебряники, медники, чарочники, красильщики, скорняки, каменщики.

Рядом с Уржаткой, на южном мысе Юрточной горы, располагались два монастыря — мужской Богородице-Алексеевский и женский Христорождественский (отсюда и пошли обозначения: Монастырское место, Монастырский лог). Правда, женский в конце XVIII в. был упразднен «за бедностью», зато в мужском открылась первая в Томске школа (1744). Позже ее преобразовали в духовное училище, еще позже — в семинарию.

Восточнее Монастырского места на берегу Ушайки жил, по преданиям, справедливый разбойник Мухин. На купцов он наводил ужас, а простые люди относились к нему с боязливым почтением. Ходили слухи, будто награбленное он раздавал людям неимущим. Так это или не так, никто толком не знал, однако береговую возвышенность в честь него окрестили Мухиным бугром. Народ здесь обитал разноплеменный, окраинный, беспокойный — все больше наемные низы и скудного достатка мещане.

Нижней Елани (означает «поляна в лесу») повезло, пожалуй, больше других районов. Вслед за Песками и на ней стали со временем возводиться каменные строения. Они вращались в деревянный Томск прерывистой зубчатой стеной, украшались колоннадами, башенками и лепниной, окрашивались в светлые праздничные цвета, другие красовались необлицованным вишневым кирпичом, уложенным узором и величаво.

В 1695 г., возвращаясь из посольской поездки в Китай, голландец русской службы Эбергард Избрант Идес (Петр I называл его по-своему Елизарием Елизарьевичем) побывал в Томске. Город произвел на него неизгладимое впечатление. В своих «Записках о русском посольстве в Китай» (1692—1695) Идес обрисовал его кратко, но выразительно: *«Этот красивый, большой и крепкий город с большим числом русского военного населения и казаков, задача которых отбивать набеги татар на Сибирь, лежит на Бузукке. В предместье, за рекой, живет также много бухарских татар, которые платят подать его царскому величеству... Город Томск ведет крупную торговлю с Китаем через посредничество подданных Бусухту-хана и бухарцев, в среду которых пробирается и много русских купцов».*



Четверть века спустя вместе с русской посольской миссией через Томск проезжали ученый врач и путешественник из Шотландии Джон Белл и немецкий художник Георг Унферцагт. Их впечатления дополняют Идеса. *«Крепость города Томска стоит на горе и заключает в себе комендантский дом, казармы и прочее, — читаем у Белла. — Укрепления его, равно как и в других городах сей страны, состоят из дерева. Город стоит на подошве горы, на правом берегу Тома; окрестности его весьма приятны и плодородны. В сем городе производится знатная торговля всякого рода мехами, а особливо собольими, чернобурыми и красными лисицами, горностаевыми и беличьими шкурками. 9 числа обедали мы у коменданта, у коего нашли мы несколько сот казаков верхами, вооруженными луками и стрелами. После обыкновенной своей экзерциции захотели они нам показать свое проворство в стрельбнии из лука, скачучи во всю конскую прыть. Поставили они посредине луга шест и, скачучи мимо оногo во всю рысь, попадали в него стрелами без ошибки».*

«Жилые дома находятся и на горе и под горой, все они деревянные, местность здесь очень красивая, — вторит своему спутнику Унферцагт. — Это место достойно всяческого восхваления, потому что здесь все дешево, особенно провиант. За два фунта хлеба мы заплатили не больше 3 штивер».

Жаль, что этот художник не оставил нам живописных изображений Томска. У него, как и у других иностранцев, взгляд на окружающее весьма практичен: красота и торговая выгода для него равнозначны. Вот и швед русской службы Лоренц Ланг, побывавший в Томске несколькими годами ранее, от любования городом стремительно переходит к оценке его богатств: *«Город расположен красиво — на горе; в нем много богатых людей. Река изобилует рыбой различной. Город богат хлебом, его даже вывозят в другие города. В его окрестностях добывают так много пушнины, как ни в каком другом месте Сибири. В окрестностях города добывают свинец, железо, медь. О серебре не слышно, но, по словам шведских пленных, кое-где встречается. В курганах окрест города находят изображения, сделанные из золота и серебра: птиц, рыб, идолов, украшения для седел, посуду, кольца, серьги и многие другие вещи. Но не все предметы сделаны из золота и серебра, встречаются также изделия из меди и железа. Таких вещей у современных жителей нет, из железа у них сделан котел, а вся остальная утварь — из бересты».*

И лишь в 1734 г., через сто тридцать лет после основания Томска, опять же немцем русской службы Иоганном Христианом Беркханом было сделано живописное изображение города. Художник входил в состав Второй Камчатской экспедиции, организованной Российской академией наук. В его обязанности входила зарисовка археологических древностей, национальных костюмов, предметов домашнего быта, создание панорамных изображений наиболее значимых городов и населенных пунктов, копий печатей, наскальных рисунков и многого другого, «до истории Сибири относящегося». Вместе со студентами-практикантами (еще их называли «академическими студентами»), среди которых был и будущий академик, исследователь и «описатель

земли Камчатки» Степан Крашенинников, Беркхан входил в научный отряд другого выдающегося историка и археографа, неутомимого исследователя и «описателя Сибири» Герарда Фридриха Миллера. В ту пору Крашенинникову было двадцать три года, Миллеру — двадцать восемь, но он уже имел профессорское звание, научные труды, был издателем «Собрания российских историй». Чувствуется, что панорамные виды Томска исполнены по его указаниям — в виде получертежей-полукартин. Подписью к ним вполне могло бы стать такое описание самого Миллера: *«В настоящее время Томск состоит в первую очередь из маленькой деревянной крепости, или цитадели, на самом верху северо-восточного берега Томи. Крепость построена четырехугольной из бревен по образцу деревянных домов. Длина ее 50 сажений, а ширина — 30 сажений. На четырех ее углах и над двумя воротами находятся боевые башни с артиллерией из 14 медных пушек. <...> Из публичных зданий в крепости находятся: соборная церковь Святой Троицы с колокольней на окружной крепостной стене, канцелярия, воеводский дом, цейхгауз, два деревянных амбара и три каменных подвала. В канцелярии самые старые документы и известия имеются с 1632 г. <...> На печати города изображен пустой щит, который держат два стоящих вертикально соболя; над ними корона и вокруг стоят слова: Печать ея императорского величества города Томска. Вне крепости, частично наверху на высоком берегу и частично внизу, у его подножия, находятся частные дома жителей, число которых в общей сложности достигает 1500. Сразу за крепостью находится маленький круглый острог из палисада, который служит жилищем для заключенных. В 200 саженьях от него есть еще башня, оставшаяся от старого острога. В верхнем городе находится также приходская церковь во имя Вознесенья Господня; рядом часовня. Через середину нижнего города, немного выше крепости, течет в Томь речка средних размеров, называемая Ушайкой. Она приводит в движение две мельницы, которые находятся возле моста, ведущего через речку. Выше по речке находятся два монастыря: мужской — Св. Алексея и женский — Св. Николая; рядом приходская церковь во имя Благовещенья Пресвятой Богородицы. Ниже Ушайки есть еще приходские церкви: Богоявления Господня, Святого Духа и Знамени Пресвятой Богородицы. Рядом с Томью, по обе стороны Ушайки, находится также много домов бухарских и чатских татар, которые для исполнения службы своему богу имеют 3 мечети. <...> Здесь учреждена довольно хорошая торговля, для которой в нижнем городе, ниже Ушайки, построен, наконец, большой продолговатый четырехугольный деревянный гостинный двор, в котором имеется 50 лавок».*

Судя по этому описанию, Томск изначальный за минувшее столетие мало изменился, разве что население его в два раза увеличилось, больше стало домов и жилых районов да воеводы волею Петра I заменены комендантом, единолично управляющим городом.

Помимо всего прочего, именно благодаря стараниям Миллера были сохранены многие бесценные архивные материалы, дающие представление о первоначальном этапе жизни города.

Уже во время первого своего пребывания в Томске (а оно пришлось на октябрь и ноябрь 1734 г.) Миллер ужаснулся тому, как хранятся интересные его документы. Беспорядочно сваленные в каменной кладовой палате городской канцелярии, они частью отсырели, частью были изъедены мышами. Описи дел велись от случая к случаю, реестры составлялись неряшливо. Пришлось Миллеру вместе со своими «малярами» и «академическими студентами» самим разбирать по годам архив, переписывать размокшие листы, делать копии или *экстракты* (обзоры) наиболее важных документов.

Лишь через несколько дней, после горячих споров с комендантом, к археографическим работам удалось привлечь томских подьячих и писцов. В большинстве своем они оказались малограмотны и неаккуратны. Хуже того, считали разборку казенных бумаг ненужной тратой сил и времени, а потому старались под всякими надуманными предлогами уклониться от работы. Но Миллер с присущей ему горячностью и педантичностью сам работал за двоих и своих подчиненных побуждал к тому же.

Каждый человек, встреченный в Сибири Миллером и его спутниками, воспринимался ими прежде всего как «носитель истории». А история теснейшим образом связана с этнографией, археологией, географией, ботаникой, языкознанием и другими науками. Стоит ли удивляться тому обилию разнообразных коллекций, которые они успели собрать за годы своего научного путешествия по Сибири? Среди них — собрание редчайших исторических документов, в том числе купленный в Томске у одного из остяцких «лучших людей» список с грамоты Ивана Грозного в Югорскую землю князю Певгею (1556—1557), карты рек Томи и Иртыша, а также «сухого пути» от Ямыш-озера до Усть-Каменогорской крепости, *словарники* (записи наиболее употребительных слов в речи эуштинцев, томских остяков и других местных племен), перевод молитвы «Отче наш» на вогульский язык (манси), «разное платье сибирских народов», «вещи идолопоклоннические», «курганые древности», «шаманское платье и бубен», драгоценные камни, лечебные травы, чучела зверей, птиц и многое другое.

Любопытны сведения Миллера о переменах в верованиях томских татар, телеутов, обских и чулымских народов. *«Еуштинцы раньше были язычниками, — отмечал он, — однако, приблизительно 20 лет тому назад, большая их часть была обращена в мусульманство Саидом, главой чатского духовенства в Томском уезде. Остальные, не давшие себя уговорить в то время, в прошлом, в 1739 г., благодаря деятельности Саида (сына вышеупомянутого Саида) приняли обрезание. Чатское духовенство постепенно обратило в мусульманство также 30 томских семей; остальные телеуты, однако, остаются еще слепыми язычниками. Чулымские и другие ясачные татары, а так же остяки имели раньше одинаковую с еуштинцами религию, но все они в 1719 и 1720 гг. были через святое крещение приведены в христианскую веру сибирским архиепископом Филофеем. Они имеют также собственные церкви в местах, где поблизости нет русских сел с церквями. Однако многие из них, особенно живущие в отдалении, мало заботятся о христианстве и еще тайно служат своим старым идолам...»*

В 1740 г., на обратном пути, Миллер вновь побывал в Томске. О своем прибытии он заблаговременно известил местное начальство. Более того, прислал список документов, которые не успел разобрать в 1734 г., и попросил снять с них копии, а заодно подготовить ответы на вопросы разработанной им «академической анкеты».

— Ну, это уж слишком! — возмутился комендант. — Нешто у меня других дел нет, кроме как такими пустяками заниматься?

И велел очистить кладовую палату канцелярии от ненужных бумаг. А напоследок пригрозил подьячим:

— Чтоб все у вас в полном порядке к приезду этого писаки было! Ни одного мокрого или изъеденного листа! Сам проверю!

Подьячие и рады стараться: погрузили испорченные свитки и коробки с бумагами в телегу, вывезли ночью на берег Томи да и побросали в воду.

И поплыли архивные ценности вниз по течению, покачиваясь на волнах, распадаясь на части, застревая на прутьях тальника, уходя на дно или оседая на отмелях. Может, и не было в них ничего особенного для большой истории, но все равно жаль. Ведь любая потеря оставляет в душе вопрос: а вдруг утрачено что-то очень важное, необходимое, неповторимое?

Нетрудно представить, что пережил педантичный, целеустремленный, самолюбивый Миллер, столкнувшись с таким пренебрежительно-малограмотным отношением к своему труду... Однако, узнав, что часть архива уничтожена, он принялся изучать оставшиеся документы. Постройка Томска, утверждал он, совершена с «немалою тамошней стране пользою». И это главное.



Петр МУРАТОВ

КАК ЭТО БЫЛО

Три истории из недалекого прошлого

КАК Я НАРУШАЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ, ИЛИ «НАШИ ЛЮДИ» ПОВСЮДУ

1.

Эта забавная история произошла со мной, студентом Казанского университета, на каникулах в августе 1981 г. Захотелось новых впечатлений — и я еще зимой взял в профкоме университета путевку в Туркмению на двадцать дней: по десять дней на Фирюзу и столицу Ашхабад.

Сначала мы остановились на турбазе в поселке Фирюза — ухоженном курортном местечке в живописном ущелье Копетдага, которое находилось километрах в пятидесяти от Ашхабада.

В нашей группе собрались представители разных городов. Нас, казанцев, оказалось шестеро: я, Ринат Ахунзянов, перешедший на 5-й курс физфака КГУ, две молодые сотрудницы физфака подружки Лариса и Лузия да супружеская пара Неля и Салих. Мы сдружились, проводя время в вылазках на природу, в играх в настольный теннис и прочих развлечениях, как обычно бывает на отдыхе. Чуть позже к нашей компании прибился азербайджанец Алик (на самом деле его звали Шахид) — воздыхатель Лузии.

Ринат добирался до Ашхабада самостоятельно, через Баку: захотелось, говорит, посмотреть попутно столицу советского Азербайджана, которая ему очень понравилась. Запомним это обстоятельство.

Недалеко от базы, почти сразу за поселком, начиналась первая полоса границы — заграждение из колючей проволоки с наблюдательными вышками. А сама государственная граница СССР проходила южнее, до нее — еще километров тридцать, далее простирался беспокойный Иран, в котором совсем недавно, в 1979 г., произошла исламская революция. Замечу, что для посещения Фирюзы и Ашхабада требовался специальный пропуск в приграничный район, который оформлялся вместе с путевкой еще в Казани.

Однако на «первой полосе» никого не было. Кое-где в ограждении зияли дыры. Мы свободно пролезали под колючей проволокой, забирались на

вышки, фотографировались. Словом, этот рубеж мы не воспринимали всерьез.

Первые десять дней отдыха пролетели незаметно. На высоте, в условиях горного микроклимата, августовская жара почти не утомляла. Но когда мы переехали в Ашхабад... В небе — почти никогда не заслоняемое облаками солнце, на земле — раскаленный асфальт и выхлопы тысяч автомобилей, снующих по городу. Разместили нас в гостинице «Турист», мы с Ринатом поселились вместе. От жары в номере спасал кондиционер.

За пару-тройку дней мы изучили столицу советской Туркмении — зеленый, уютный, небольшой городок с широкими современными улицами. Особой старины мы там не увидели: жестокое землетрясение 1948 г. полностью стерло город с лица земли, и столицу отстроили заново, стилизовав архитектуру новых зданий под Восток.

История Ашхабада, как и многих других городов Средней Азии, начиналась с укрепленного поселения, возведенного русскими в XIX веке. Позже оно утратило свое оборонительное значение, превратившись в захолустье. Новую жизнь вдохнуло строительство железной дороги. Город стал бурно развиваться. Приехало много людей из Средней Азии и России. А когда была образована Туркменская ССР, Ашхабад стал ее столицей.

Мы побывали на грандиозном, полном изобилия городском Текинском рынке с незабываемыми развалами шикарных туркменских дынь. На фабрике ознакомились, как вручную ткутся знаменитые восточные ковры: искреннее восхищение вызывали отточенные, доведенные до автоматизма движения рук вязальщиц узелков.

На центральной площади города мне очень понравился первый в Средней Азии памятник Ленину, возведенный вскоре после его смерти. Восхищение не само изваяние вождя — оно было маленьким и незапоминающимся, — а постамент, выложенный плиткой, повторяющей орнамент туркменских ковров. Позже, после развала Советского Союза, памятник Ленину демонтировали, а его место заняла огромная статуя первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова — Туркменбаши, которую отлили из золота. «Алтын-президент», указуя царственной десницей на солнце, двигался согласно со светилом — благодаря особому механизму.

Помимо экскурсий по городу, нам показали руины бывшей столицы древнего Парфянского царства и подземное Бахарденское озеро. Однако, где бы мы ни были, нас безжалостно иссушало «белое солнце пустыни». А в окна гостиницы заманчиво глядели зубцы гор Копетдага, постоянно напоминая нам, как было комфортно в Фирюзинском ущелье. О-хо-хо... И у нас с Ринатом возникла мысль сходить в горы, освежиться.

2.

И вот ранним утром, часиков в пять, мы двинулись в южном направлении, в сторону манящих гор, надеясь до заветной цели часа за полтора-два, пока не началось пекло. Интересно, что горная цепь вставала прямо из равнины — смена характера местности была очень резкой.

Сразу за оазисом столицы начался унылый серо-желтый пустынный пейзаж. Встречались лишь редкие саксаулы, верблюжья колючка и повинующиеся ветру сухие мотки перекасти-поля. Попалась навстречу отара овец с пастухом — мы поприветствовали друг друга.

За плечами у нас висели рюкзаки с запасом воды, еды, Ринат прихватил с собой фотоаппарат и на всякий случай большой складной охотничий нож. Из документов мы взяли лишь гостиничные пропуска.

Протопав почти два часа, мы вплотную приблизились к горам — солнышко уже начало упрямо набирать силу. Но что там за темная ровная каемка вдоль всей цепи гор? Чем ближе мы подходили, тем отчетливей угадывалось — это, похоже, «колючка» первой полосы границы. Точно! Но ничего, ведь это, как мы знаем по Фирюзе, всего лишь бутафория. Зато сразу за ней — такая зовущая, уютная тень и прохлада гор. Мы шли вдоль столбов с колючей проволокой и подыскивали брешь. Контрольно-следовой полосы, понятное дело, нигде не было. И вдруг как гром среди ясного неба: «Стоять!» Откуда взялся вооруженный «калашами» пограничный наряд численностью в отделение, мы не поняли.

— А, здорово, ребята! Службу несем? — Серьезности ситуации мы не почувствовали.

Но пограничники даже не улыбнулись. Один из них, сняв с плеча Рината рюкзак, заглянул внутрь.

— Ты чего полез как в свой? — выразил недовольство хозяин.

— Молчать! — последовал ответ.

— Нет, ребят, серьезно: вы че, в самом деле?!

— Следуйте за нами!

— Хорошенькие дела! Ну ладно, пойдем.

Мы по-прежнему были уверены в том, что нас разыгрывают. После полчасового марша мы прибыли к огороженным зданиям с символикой погранвойск. Застава. За все время следования погранцы не проронили ни слова.

Нас провели в одно из зданий и развели по разным комнатам. Что мне сразу не понравилось, — все делалось молча. В комнате, куда меня завели, я увидел офицера в звании майора. Он, сняв фуражку с ярко-зеленым околышем, молча указал мне место у стола и положил передо мной листок бумаги и ручку.

На листочке было напечатано: «Анкета нарушителя государственной границы СССР». Ничего себе! Похоже, игры действительно кончились.

Я удивленно спросил:

— Товарищ майор, вы что, серьезно? Какой я нарушитель границы?

— Заполняйте, я потом все объясню.

Помимо обычных анкетных вопросов, на обороте листа шел главный раздел: «Мотивы пересечения государственной границы СССР». Там я постарался доходчиво изложить и про сбившую с толку фирюзинскую первую полосу границы, и про измучившее нас в городе «белое солнце пустыни», особо акцентируя, что намерений пересечь границу у нас не было. Указал и то, что никаких инструктажей с нами в Ашхабаде никто не проводил. В общем, уложился на одной страничке.

Ну, думаю, сейчас нас должны отпустить: пограничники не могли не видеть, что мы обычные студенты-балбесы. Глядишь, и до города подбросят, жаль только, что горам придется «сделать ручкой». Однако майор не торопился и, внимательно изучив мою писанину, спросил, есть ли какое-нибудь удостоверение личности. Нет, отвечаю, только пропуск в гостиницу «Турист» с указанием имени и фамилии. Потом он начал расспрашивать, на каком курсе я учусь, на каком факультете, что изучаю, как добирался до Ашхабада, встречался ли с кем-нибудь по дороге сюда и кто нас знает в тургруппе. После этого, попросив вооруженного дежурного присмотреть за мной, куда-то вышел. Я уныло уставился в окно.

Через полчаса майор вернулся:

— Вставайте, следуйте за мной.

Он вывел меня на улицу, там уже ждали двое автоматчиков.

— Сейчас мы с вами доедем до вашей гостиницы, — объяснил майор.

Ну наконец-то, слава богу, домой. Только где Ринат? Не может быть, чтобы отпустили меня одного.

Сказав что-то автоматчикам, майор вернулся в помещение. Пограничники, встав рядом, закурили, обмахиваясь форменными панамы защитного цвета с широкими полями. Солнышко к тому времени уже палило вовсю.

Рядом ходил туда-сюда еще один солдатик, оружия при нем не было. Подойдя, он издевательски обратился ко мне:

— Ну что, чухлики, где попались?

Я, смерив его взглядом, отвернулся: общаться с ним не хотелось. Он понял это и, нагло ухмыльнувшись, почему-то зашел: «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год...»

Наконец-то вышел майор. Заметив «певца», он подозвал его к себе, и гонор у того как рукой сняло.

— Ну что, Приходько, сколько тебе рябчиков дать?

— Сколько дадите... — Приходько провел рукой под носом.

— Парочку хватит?

— Так точно, товарищ майор.

— Кругом, марш!

А тут и уазик подкатил. Меня усадили на откидное сиденье в задней части машины, закрыв за мной дверцу. Майор сел рядом с водителем, автоматчики — за ним. Мы тронулись. По пути майор объяснил:

— Сейчас мы приедем в вашу гостиницу, вы заберете документы и все вещи: свои и товарища. Есть ли там те, кто подтвердит ваши личности?

— Не знаю, может, будут на месте казанцы. А почему Рината не взяли?

— Ваш товарищ слишком развыступался, он, видимо, решил, что мы тут в бирюльки играем.

Да, думаю, ситуация с Ринатом прояснилась: он и до этого производил впечатление ерепенистого, вечно чем-то недовольного парня. Кроме того, стало понятно, что придется вернуться обратно на заставу уже «с вещами» — положение прорисовывается не очень веселое.

Прибыв на место, майор благоразумно оставил автоматчиков в машине. Я вошел в гостиницу первым, он следовал чуть сзади. «Прямо как в кино!» — подумалось невзначай. На вахте я показал гостиничный пропуск старенькой бабуле, она кивнула — проходи.

— А это кто? — недовольно буркнула бдительная вахтерша, взглянув на следовавшего за мной майора.

— Это со мной! — многозначительно пропел я, небрежно сделав жест в сторону офицера КГБ.

— Да-да, я с ним! — немного смущенно, как мне показалось, сказал страж границы.

Однако завидевшая нас администраторша пулей выскочила из-за стойки, мгновенно прервав с кем-то телефонный разговор.

— Дежурного администратора или директора! — не поздоровавшись с ней, кратко приказал майор.

— Да-да, конечно! — Понятливая администраторша тут же нырнула в коридор. Через минуту она уже стояла перед нами с каким-то мужчиной, как выяснилось позже, директором. Майор сказал:

— Пройдемте в их номер.

Мы четвером поднялись на наш этаж, зашли в номер. Майор обратился ко мне, перейдя на «ты»:

— Собирай все вещи вот сюда в кучу. В каких, говоришь, комнатах живут ваши друзья?

Услышав номера комнат, офицер попросил администраторшу сходить туда и пригласить их с документами.

Я тем временем собрал все барахло — свое и Рината — в кучу. Изучив наши паспорта, майор спрятал их в нагрудный карман.

— А это что?

На тумбочке около кровати Рината лежала бумажка, на ней была нарисована какая-то радиосхема: будущий радиофизик постоянно вечерами рисовал схемы, очень был увлечен своей специальностью.

— Не знаю, — говорю, — это не мое, Рината.

Бумажка отправилась вслед за паспортами.

В этот момент в номер в сопровождении администраторши вошли немного побледневшие Лариса с Лузией. Слава богу, они оказались на месте. Салих с Нелей куда-то успели уйти, Алика-Шахида тоже на месте не оказалось. Майор, изучив их паспорта, спросил, что они о нас знают. А что могут знать друг о друге люди, впервые встретившиеся в туристической группе пару недель назад? Лариса, украдкой встретившись со мной взглядом, еле заметно покрутила пальцем у виска, Лузия показала кулак. Они вообще-то знали о нашем намерении сходить в горы. Поблагодарив наших подружек, майор попросил их вернуться в свой номер.

— Ну что, все собрал? — спросил страж границы, окинув взглядом кучу шмоток.

— Вроде все.

— А это что, забыл?

Бдительный офицер, заглянув под кровать Рината, вытащил его летние сандалии, которых я не заметил.

Я сгреб все добро в охапку, мы вышли из гостиницы. Администраторша с директором помогли донести вещи, не уместившиеся у меня в руках. Майор нес злосчастные сандалии.

На заставе допрос продолжился. С Ринатом работал другой офицер в звании подполковника. Оказалось, что я забыл сообщить про встречу с па-стухом по пути к границе — первая нестыковка в показаниях. Но их больше волновал другой вопрос: почему Ринат летел из Казани не как мы — напрямую в Ашхабад, а через Баку и не встречался ли он там с азербайджанцем Аликом-Шахидом? На это я ответил честно что знал: «Хотел, говорит, посмотреть город Баку, а с Аликом познакомился при мне в Фи-рюзе».

На этом очень насыщенный первый день моего знакомства с погранич-ной службой СССР, организационно входившей в структуру Комитета гос-безопасности, завершился. Два вооруженных автоматами пограничника вы-вели меня на улицу и повели куда-то вглубь территории заставы. Смеркалось, солнце уже не лютвало, от близких, но таких недоступных, как оказалось, гор веяло прохладой. Мы направились в КПЗ для нарушителей государ-ственной границы — к отдельно стоящему домику, белеющему в сумерках крашенными известкой стенами.

Там уже сидел отрешенный, грустный товарищ по несчастью Ринат, лениво пережевывая и запивая густым чаем макароны по-флотски. Хар-чи в алюминиевых мисках нам принесли из солдатской столовки. Ринат рассказал, как стал возмущаться перед офицерами, которые вели допрос: дескать, вам, погранцам, от безделья, похоже, нечем заняться! Вы что, не видите: мы — обычные студенты, какие, к черту, «нарушители границы», что это за издевательство, не буду ничего заполнять! Тоже мне, понимаешь ли, «кагэбе» и так далее. Короче, мне стало ясно, почему «с вещами» при-везли меня, а не его. Потом, говорит, докопались до меня с этим злосчаст-ным Баку, с озером Аликом, почему-то стали выяснять тему дипломной работы. Ринат признался офицерам, что нож и фотоаппарат принадлежат ему. Я поведал ему о радиосхеме, которую, похоже, отослали на эксперти-зу. Он ухмыльнулся.

В камере не было света, и вскоре навалилась темень хоть глаз выколи. Уф! На сегодня отбой, спокойной ночи, Ринатик.

3.

При свете выглянувшего утром солнышка мы оглядели свое жилище. Ка-мера предварительного заключения представляла собой небольшую комнат-ку площадью метров шесть с тремя нарами-лежанками, покрытыми черными толстыми матрасами. Постельное белье нам не выдавали. Маленькое оконце под потолком закрывала классическая тюремная решетка, через которую нам улыбалось ослепительно-голубое небо «в клеточку». Стены побелены и ис-

пещрены какими-то надписями арабской вязью — похоже, их авторы были с «той стороны». М-да, подумалось, кто только не давил местные матрасы. Правда, первую ночь мы спали как убитые.

Лязгнул засов со стороны улицы: солдатики принесли завтрак. Ринат начал о чем-то скулить, погранцы измерили его равнодушным взглядом, пожелав тем не менее приятного аппетита. Потом пояснили: «Захотите в туалет — стучите. Что-то понадобится — тоже стучите. Теперь здесь пост». КПЗ охранялась двумя часовыми с автоматами.

— Ух ты, — говорим, — как круто!

— А вы как думали! — последовал ответ.

Первая новость, которую Ринат с вечера забыл мне сообщить, была позитивной: допрашивавший его подполковник оказался своим человеком — татаринном.

— Как ты узнал?

— Очень просто. Ему позвонили. В трубке угадывался взволнованный женский голос. Ага, думаю, наверное, жена звонит. И тут я шестым чувством учуял, что говорят на том конце провода по-татарски. Я стал внимательно прислушиваться, подполковник же смотрел мимо, через меня. Отвлечшись, прокололся: «А ул нарс...» Но осекся, закашлял и тотчас же переспросил в трубку: «Да, а он что?» Я заулыбался, а он, по-русски закончив общение по телефону, ответил мне непроницаемым взглядом, не подав ни малейшего вида.

— Ну-ну-ну! — нетерпеливо заерзал я. — Ты развил с ним эту тему?

— Да нет, решил воспользоваться своим открытием попозже.

— Может быть, поможет, как своим, а?

— Не знаю, дальше будет видно...

Снова лязгнул затвор двери: солдатики пришли за посудой. Я попросился в туалет, больше для того чтобы оглядеться вокруг, сориентироваться. «Пошли!» Один часовой, закрыв за мной дверь на засов, остался у КПЗ, второй, поправив на плече ремень автомата, пошел следом, указав направление движения. Выводить «на оправку» полагалось по одному. Я шел медленно, глубоко вдыхая свежий утренний воздух. Вся застава утопала в зелени. Мой «бодигард» меня не торопил.

Путь в туалет лежал мимо постройки, оказавшейся кухней и столовой заставы. И вдруг я услышал частое металлическое «вжикание»: голый по пояс солдат сосредоточенно драил огромный железный кухонный чан. Я присмотрелся... Ба-а! Да это же мой знакомый Приходько, сутки назад докапывавшийся до меня с дурацкой песенкой. Вот, оказывается, что значит «рябчик» — наряд вне очереди! Прекрасно!

— Приходько! — громко окликнул его я.

Он поднял голову. И я, помахав ему рукой, запел во всю глотку:

— Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год!..

Он, перестав упражняться с чаном, зло зыркнул на меня, но ничего не ответил, ведь я, извините-с, с охранником, который весело хмыкнул у меня за спиной. Видимо, рядовой Приходько был известным на всю заставу балбесом.



Процесс оправки происходил под бдительной охраной вооруженного сотрудника органов госбезопасности — непередаваемые ощущения, скажу я вам... Возвратившись, я поведал Ринату о своей мелкой мести рядовому Приходько. Сокамерник кисло скривил губы в подобие улыбки: на него стала наваливаться депрессия.

— Слушай, Ринат, кончай киснуть, мне тоже невесело.

— Да-а-а... — Он слабо махнул рукой. — Сколько мы тут еще просидим — одному Аллаху известно.

— Да ладно тебе! Разберутся — отпустят.

В ответ Ринатик лишь тяжело вздохнул. Настроение у него еще больше упало, когда в обед нам принесли чуть теплые суп и макароны.

Ринат остался верен себе:

— Послушайте, вы! — с неожиданной резвостью напустился он на погранцов. — Почему суп холодный и макароны слипшиеся?! Вы че, в натуре, нас за скотов держите? Что за фигня такая, салабоны?!

Я отчетливо осознал, что это — перебор.

— Ринат, кончай!

Ответ не заставил себя долго ждать: один из постовых схватил Рината за грудки и грубо оборвал:

— А ты что, хочешь, чтоб мы тебя еще с ложечки кормили?! Жри и не возбужай, понял?!

Обиженный до глубины души, нарушитель границы к обеду не притронулся. Холодный «хавчик» и у меня с трудом пролезал в глотку.

— Ешь, ешь, — говорю, — Ринат, не выпендривайся! До ужина еще долго ждать.

— Да пошли они!

— Они-то пойдут, а вот сосать в животе будет у тебя!

Все бесполезно. Нет, думаю, так дело не пойдет. Поев и дождавшись, когда унесут посуду, я вежливо попросил часовых приносить еду вовремя. Те пообещали. А Ринату говорю:

— Ну хочешь, я тебе сказочку расскажу? «Девяносто девять зайцев» называется.

Раскисший собрат по несчастью едва заметно пожал плечами.

Я начал: «Расскажу вам, ребятки, сказку про плутишку Эспена, про сына моего. Сыновей-то у меня трое: Пер, Поль и Эспен — ха! Один другого ленивей! Захотелось им легкой работой заняться, а король наш как раз и объявил, что нужен ему заячий пастух. Да-да-да! Зайцев пасти! Ну вот, сынки мои и загорелись...»

И так далее. Ровно через сорок минут (время проигрывания пластинки с этой сказкой, которую с детства помню наизусть) я закончил. Ринат чуть заметно заулыбался.

— Клевая сказка! — донеслось с той стороны: постовые тоже изнывали от скуки. — Давай, исполни еще че-нить!

— Песни пойдут? — спрашиваю.

— Валяй!

— В тему?

— Годится!

И пошло-поехало. Никогда в жизни я не пел столько песен про пограничников. Тут вам и Высоцкий: «Наши пограничники — храбрые ребята, / Трое вызвались идти, с ними капитан. / Разве ж знать они могли про то, что азиаты / Порешили в ту же ночь вдарить по цветам? / А на нейтральной полосе цветы...» И торжественная: «Ночь темна, и кругом тишина, / Спит советская наша страна». И бодрая «Стой, кто идет? Стой, кто идет? / Никто не проникнет, никто не пройдет!» И чуть переиначенная мной веселая песня «Три танкиста»: «У высоких горных перевалов / Часовые Родины стоят!» И опять Высоцкий: «Ринат Халилов, мой сосед по камере, — / Там Мао делать нечего вообще!» И многое другое. Не каждый день так «зэки» поют. Интересно, офицерам об этом доложили? Ну, думаю, теперь-то, точно, горячий ужин принесут! Не могут, черт возьми, не принести!

Послеобеденный концертный досуг разнообразился неспешными очередными вояжами до «толчка». Каждый раз, проходя мимо столовой, я замедлял шаг, выискивая взглядом рядового Приходько: мне все хотелось пожелать ему хорошей, без нарядов, службы или просто послать воздушный поцелуй. Но он на глаза, к сожалению, больше не попадался. Наверное, до посинения картошку чистил или макароны продувал.

Потихонечку, полегонечку день клонился к закату. Ринат неподвижно лежал на своей шконке, глядя в потолок. А ужин — обжигал! Часовые Родины, временно исполнявшие обязанности вертухаев, на сей раз не подкачали. Правда, просьбу принести нам «по медведю» («медведями» на зонах называют одеяла) не выполнили — видимо, не полагалось. Отбой!

Следующее утречко «за решеткой, в темнице сырой» опять началось заглянувшим солнышком. Для поднятия настроения я решил начать день с шутки, в чем мне вновь помог усопший всего год назад, но все равно бессмертный Володя Высоцкий. Я запел «Милицейский протокол»: «Разбудят утром — не петух прокукарекал, / Сержант поднимет — как человека!» Но Ринат никак не отреагировал.

Зато после завтрака (горячего!) нас ждал приятный сюрприз. Дверь открылась, и очередной постовой в звании сержанта известил:

— Можете выйти полежать на травке: командир сегодня добрый.

Похоже, подполковник, тот самый, «безнен кеше» (с татарского, «наш человек»), оправдывая свой высокий статус земляка, сжалился над нами.

Что ж, дважды приглашать не надо. Соцтурившись на солнышке, мы выползли из КПЗ и, зевнув, с удовольствием потянулись.

— Но дальше этого места, — пограниц прочертил сапогом линию на земле, — выходить нельзя! Ясно?

Мы растянулись на мягкой травке в теньке, оголившись по пояс. Земля дышала упоительным теплом. Внутри камеры, дверь в которую осталась приоткрытой, даже не хотелось заглядывать.

— Ну, что, парни, вы кто такие и откуда?



Постовые, видимо, решили нарушить «обет молчания».

— Мы-то? Из Казани, учимся в университете, приехали сюда по турпутевке, — начали мы свой рассказ.

И так почти два часа: за Казань, за Татарстан, за университет, за физику-биологию и прочее. Пограничники с интересом, как нам казалось, слушали, задавая вопросы и вставляя в наш рассказ фразу-другую.

Вскоре прошла смена караула. И опять по новой: за Казань, за Татарстан, за университет... Не жалко, пусть слушают, скучно тут у них, однообразно, да и Ринат хоть немного отвлечется от своей хандры. И так — по кругу, через каждые два часа, с каждой новой сменой, с перерывом на обед и неспешным дефиле до «толчка».

Однако и тут Ринат не изменил своей привычной подозрительности и недоверию. Он украдкой шепнул мне на ухо:

— Ты думаешь, они просто так спрашивают нас, от безделья? Не будь наивным! Им наверняка дали задание подловить нас на рассказах.

Но мне было все равно:

— По заданию ли, от безделья — какая разница? Тебе где лучше: на травке, на солнышке или в камере?

Так мы и не выяснили цели расспросов. Но от постовых кое-что смогли узнать. Оказалось, все служащие — призывники с Украины. Я сразу обратил внимание: все мягко произносили «г». И служилось им здесь, похоже, непросто: один пожаловался на строгость службы в войсках госбезопасности, другой горько сетовал на почти полное отсутствие увольнительных.

Мы поинтересовались, кто нацарапал на стенах КПЗ.

— Да сидели тут недели за две до вас трое иранцев. У них в последнее время мода пошла: как заболит что-то — сразу границу нарушать. Со своей-то медициной, похоже, труба. Пока суть да дело — их, разумеется, наши посмотрят, подлечат. Один даже отвечать на вопросы отказался. Сразу нашему подполковнику руку под нос — не видишь, мол, болит, лечи сперва! Понятное дело, наш медик лечил. Потом их возвращают назад. Хорошо устроились!

Мы судорожно слотнули, вспомнив черные матрасы на нарах. У меня потом непонятная красная сыпь на теле появилась, но через некоторое время, уже в Ашхабаде, прошла.

Однако нас беспокоил главный вопрос: что собираются с нами делать, сколько здесь еще промурыжат?

— Да не беспокойтесь, парни! На допросы вас больше не тягают? Значит, им с вами все ясно. Теперь надо дожидаться, когда придет ответ на запрос с вашего места жительства: кто вы, что вы, нет ли чего на вас — сами понимаете, здесь граница. Короче, не вы первые, не вы последние.

— И как быстро придет ответ на этот запрос?

— Ну, парни, не знаем, по-разному бывает. Они имеют право удерживать вас неделю, только потом извещают прокурора.

— Неделю?! И что прокурор?

— А ничего! Он зафиксирует факт задержания, и вы будете дальше находиться под арестом столько, сколько потребуется. Но не бойтесь, вы им не нужны, таких балбесов без вас хватает.

— Да уж, хорошенькие дела! Успокоили... А! Кстати! Слышь, ребята! А ваш подполковник не татарин, случайно? — отважились мы еще на один волновавший вопрос и невинно улыбнулись.

— Парни, не зна-ем! — членораздельно ответили «ребята», наглядно продемонстрировав предел разумных расспросов.

Ближе к ужину, когда солнышко коснулось вершин деревьев, пришел пограничник и что-то шепнул нашим очередным охранникам. Те поднялись.

— Так, ребяташки, давайте-ка быстренько «домой»: начальство приехало.

Снова противно лязгнул засов закрываемой за нами двери вонючей камеры. Мы, тяжело вздохнув, уселись на свои «персидские» матрасы. А как было хорошо на воздухе! Мы даже успели немного загореть. Второй день отсидки не сравнить с первым. Потрепавшись перед сном после ужина, мы отошли ко сну. Ринату стало заметно легче.

4.

Третье утро началось с уже ставшего привычным визита солнечного прямоугольника на противоположную от окна стенку. Доброе утро, «мой сосед по камере» Ринат! Алла берсе (бог даст), оно станет для нас добрым. Как обычно, последовал утренний «моцион» и такой же привычный армейский завтрак.

И, о небо! Аллах услышал наши молитвы! Через час после завтрака дверь КПЗ отворилась и мы услышали слова постовых, показавшиеся мне началом Сороковой симфонии Моцарта:

— Эй, парни! На выход с вещами! Командиры зовут!

По тембру голосов пограничников я шкурой почувал, что в камеру мы больше не вернемся.

Мы снова оказались в той комнате, где я заполнял анкету нарушителя. Перед нами за столом сидели «подпол» с майором.

— Ну что, ребятки! Благодарите свой родной казанский КГБ: ответ на запрос пришел очень быстро. Ничего на вас нет, сейчас отвезем вас в гостиницу.

О-о! Какой вдруг стала комната светлой, торжественной и просторной! Не погостить ли еще денек на территории ставшей почти родной заставы, только не в КПЗ? Пообщаться со славными пограничниками, несущими непростую службу по охране государственных рубежей нашей великой Родины, в том числе и от нас, безмозглых студентов. А мне «дотереть базар» с рядовым Приходько. Но Ринат неожиданно выдал:

— Ипташ подполковник, сез татарма? (Товарищ подполковник, вы татарин?) Татар, татар! Мин биям бу! (Я знаю это!)

— Да я, Ринат, понял, что ты догадался, — ответил он по-русски. — Когда жена позвонила: сын дома с велосипеда навернулся, нос разбил.

Тут в разговор, широко улыбнувшись, вмешался майор:

— А я ведь тоже татарин! Мы с товарищем подполковником оба когда-то учились в Казанском артиллерийском училище!

Комната стала еще просторней и светлей от четырех вспыхнувших разом улыбок земляков. Однако противный Ринат, первым свернувший с лица улыбку, вновь в упор уставился на офицеров:

— И все-таки зачем вы промариновали нас здесь трое суток? Неужели сразу не ясно было, кто мы такие?

Подполковник тоже снял улыбку и, кашлянув, глубоко вздохнул.

— Видишь ли, Ринат, — серьезно начал он. — Прутся сюда из Ашхабада регулярно. Мы взяли вас в окуляры, когда вы еще топали по равнине. Думали, подойдете ближе, увидите ограждение, развернетесь и уйдете назад — так, кстати, обычно и происходит. Но вы же подошли вплотную, стали щупать проволоку, пошли вдоль ограждения, выискивая, где можно пролезть. Разве не так? Я выслал наряд, при вас не оказалось никаких удостоверений личности, а пропуска в гостиницу, сами понимаете, филькина грамота. Вы неплохо экипированы, с рюкзаками, в них приличный запас еды, воды, хороший фотоаппарат, серьезный нож — холодное оружие. Кто вы такие? Что вам здесь нужно? Каковы ваши цели? Извините, но здесь государственная граница. Уйларга киряк, джяным! (Думать надо, дорогой!) Шулайма? (Не так ли?) Потом, твои непонятные для меня радиосхемы, что они обозначают, для кого предназначены? Их должны были глянуть наши спецы. Нужно было также посмотреть, что вы успели нащелкать своим фотоаппаратом. Далее. Почему ты следовал сюда через Баку, с кем там встречался? А ты еще и выступать на допросе начал, вместо того чтобы нам помочь побыстрее во всем разобраться. Вы поблагодарить нас должны, что мы вчера на целый день выпустили вас на воздух, ведь по большому счету так делать не полагается. Но чего только не сделаешь ради земляков!

Ринат вроде поумерил свой пыл, но снова не сдержал характер:

— Спасибо, конечно. Но, товарищ подполковник, почему тогда в Фириузе первая полоса границы — полное фуфло? Да и сама граница, как нам сказали, аж километрах в тридцати отсюда!

Я пару раз пнул его ногой под столом — кончай, мол! Подполковник спокойно ответил:

— Во-первых, здесь граница, выдам тебе тайну, намного ближе, чем в Фириузе. Во-вторых, рядом большой город. Другое дело, что никто вас не проинструктировал об особенностях нахождения в приграничной зоне. Поэтому я еще разберусь, почему так произошло. И администрации гостиницы, и турорганизации, которые вас здесь принимали, вдуют — будьте спокойны!

— Да уж, пожалуйста, вдуйте им как следует! — Ринат постучал пальцем по столу.

— Ну ладно, ребята, давайте прощаться! Больше нам не попадайтесь!

Подполковник встал из-за стола:

— Товарищ майор, сопроводите их до гостиницы!

— Есть!

Мы не узнали даже имен наших земляков. Оно и понятно: сотрудники госбезопасности. Одно радовало: наши люди всюду!

И вот уже знакомый узик понес нас к такому милому, уютному Ашхабаду. Вооруженное сопровождение, слава богу, на этот раз отсутствовало.

5.

Когда мы вошли в гостиницу, к нам опять выскочила из-за стойки администраторша. Тут же нарисовался и директор. Не попрощавшись с нами, майор и директор куда-то удалились — видимо, исполнить формальности. Зато администраторша торжественно препроводила нас в номер полулюкс! Во как! Мы с Ринатом, оставшись одни, швырнули на пол рюкзаки и молча плюхнулись на кровати. Ну дела-а-а...

Первым подал признаки жизни Ринат.

— Вообще-то, Петь, сейчас время ужина, — тихо промолвил он, скосив глаза на часы. — Пойдем, что ли, пожрем?

— Пойдем, — едва слышно выдохнул я, добавив крылатую фразу «джентльмена удачи» Василия Алибабаевича. — «А в тюрьме сейчас макар-о-оны!»

Оба рассмеялись.

Спустились в столовую, когда ужин был в самом разгаре. Едва закрыли за собой дверь, как увидели, что десятки голов резко повернулись в нашу сторону: вот они — бывшие арестанты, нарушители советско-иранской границы. Помещение тут же наполнилось гулом голосов. Раздался радостный визг — это, опрокинув стулья, к нам метнулись Лариса, Лузия и Салих с Нелей! Алик опять где-то запропастился...

Да, товарищи дорогие, я глубоко прочувствовал, что означает выражение «распирает от гордости». На самом деле становится тесно в груди. Мы оказались в центре внимания. А что? Очень приятно!

Однако на следующий день опьянение популярностью стало потихоньку улетучиваться. Каждый считал своим долгом подойти к нам и, хлопнув по плечу, поинтересоваться: «Ну что, Шурики (так прозвали нас обитатели гостиницы), передали привет аятолле Хомейни? Записались в корпус стражей исламской революции? Сколько набрали голосов на выборах в меджлис?» Это, оказывается, утомляет! Как будто бы все сразу, дружно превратились в рядовых Приходько.

Но уже через три дня мы, с лихвой перевыполнив программу пребывания в гостях, возвращались домой. Счастья тебе и благополучия, гостеприимный Туркменистан!

6.

Имело ли трехсуточное заключение в ведомстве КГБ для меня какие-то последствия в дальнейшем? Нет, не имело, что опровергает утверждения некоторых критиканов советского строя: дескать, любой интерес со сторо-

ны органов означал для человека как минимум чуть ли не конец карьеры. По крайней мере, на режимный «почтовый ящик» в Кольцове через каких-то три года меня распределили. Значит, личное дело было чистым, в противном случае... Сами прекрасно понимаете.

А потом исчез Советский Союз, а с ним и советско-иранская граница. Реорганизовался и Комитет госбезопасности. Уж не ведаю, жива ли та застава и вообще — как и кто несет дозор на нынешних туркмено-иранских рубежах?

И хотя в солнечном Туркменистане никогда не было ни дремучих лесов, ни снегов, знаковая песня, вдохновенно исполненная когда-то мной на южных рубежах советской Родины, всегда вызывает трогательные воспоминания:

Лес дремучий снегами покрыт,
 На посту пограничник стоит.
 Ночь темна, и кругом тишина,
 Спит советская наша страна...

КАК МЫ СТАЛИ СПОНСОРАМИ

Минуло уже почти четверть века с того дня, когда мы вдвоем с товарищем Женей Коноваловым нырнули в мутные волны рынка. Оба на тот момент еще числились сотрудниками НПО «Вектор», но скорее номинальными. У обоих по двое детей — а на дворе расцвет «лихих девяностых»: галопирующая инфляция, обесценивание вкладов, всероссийский лохотрон под названием ваучеризация, безверие, локальные войны, разгул преступности и прочие прелести времени бессовестного разграбления, «прихватизации» некогда общенародного достояния, поры первоначального накопления капиталов при практически полном самоустранении государства из всех сфер экономики под сладкую болтовню о свободном рынке и демократических ценностях.

Большинство наших коллег по «Вектору» уже слиняли за рубеж или собирались это сделать. А мы с Женей перебивались тогда книжной торговлей: мерзли на Чкаловской ярмарке, развозили книжки по области, открыли несколько небольших розничных точек, учредив товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Буян».

Мысль о поиске новых рынков сбыта сидела у нас в головах вечной занозой. Однажды услышали по радио рекламу: «“Купеческий караван” отправляется в плавание!..» — и контактные телефоны. Позвонили. Новосибирский предприниматель Владимир Мегрэ (псевдоним. — П. М.) зафрахтовал речной круизный теплоход «Патрис Лумумба». Желавшие могли сдать ему товар на реализацию: «караван» спускался вниз по Оби с торговой миссией. Мысль нам показалась интересной: почему б не попробовать уменьшить завалы на складе?

Съездили в офис, составили договор, познакомились с сотрудником по имени Вадим, которому предстояло торговать нашими книжками. Отплытие «Купеческого каравана» планировалось через неделю.

И вот потекли денечки ожидания. Изредка мы представляли, как на глу- хих таежных пристанях продаются наши книжки.

Через два месяца нам позвонили из «Каравана»:

— Заберите свои книжки.

— А сколько продалось-то?

— Где-то треть.

Ладно, думаем, хоть что-нибудь. Поехали забрать нераспроданный то- вар: теплоход уже стоял в доке в Затоне. Встретили Вадима, тот поставил нас в известность: столько книжек вернулось — забирайте, а такова сумма за проданные, ее и получите.

— А у кого получить?

— Ну, мужики, не у меня: я всю выручку сдавал в кассу, идите к руко- водству.

Поднялись на палубу. Коммерсанты, желавшие получить денежки, под- ходили один за одним. «Руководством» оказалась измученная ежеминутно повторяющимися почти слово в слово диалогами женщина.

— Здравствуйте!

— Добрый день!

— Нам бы деньги получить за проданный товар.

— Денег нет.

— А где деньги?

— Не знаю.

— А кто знает? Где директор?

— В Москве.

— А когда он приедет?

— Не знаю.

Такой, знаете ли, типичный для девяностых годов «базар», думаю, еже- дневно тысячекратно повторявшийся во всех уголках нашей необъятной Ро- дины.

После довольно однообразной прелюдии-дуэта наставал черед сольного выступления каждого из вновь подошедших торгашей, начинавших догады- ваться, что их банально «кинули». Тут «вариаций на тему» было значительно больше — уж кто как умел. От жалоб на сирую тяжелую жизнь до крутых распальцовок с умелым использованием блатной фени и грозными обеща- ниями сотворить «козью морду» всему руководству «Купеческого каравана».

Но мне запомнилась тихая православная женщина, сдавшая на реализа- цию церковную литературу. Нет, я даже приблизительно не сумею воспроиз- вести тот монолог... Поминалось и осквернение слова Божьего, и обещание кары небесной ввиду невозможности судебной тяжбы их, людей Божьих, с ними — грешниками окаянными. И все с убийственным спокойствием, с какой-то внутренней силой.

Однако «полпред» от «Каравана» держалась молодцом, никого не пере- бивала, лишь глубоко вздыхала, выслушивая всех даже с некоторым сочув- ствием. Да уж, положение ей досталось незавидное, спору нет, но, исполняя роль громоотвода, она, видимо, имела за это хорошую материальную ком- пенсацию. В том числе и с причитавшихся нам денег.



Не желая становиться очередными участниками бесполезного разговора и прекрасно поняв суть происходящего, мы с Женей тихонько присели в уголке и стали думать, что же делать. И тут мы уловили главное: долг предлагалось погасить любым имевшимся в наличии товаром. Теплоход необходимо было освобождать от нераспроданного барахла: аренда судна заканчивалась.

Но негодующие коммерсанты, словно токующие глухари, не слышали или не желали слышать и принимать это: понятно, денежки интересней. Но где они, эти денежки? Правильно, смотри диалог выше. Дав волю эмоциям и высказав все, что думают в адрес и «Купеческого каравана», и лично Владимира Мегрэ, они, видимо, считали, что на сегодня достаточно. Мол, мы еще с вами встретимся! Но, дорогие собратья по несчастью, а каков результат? С таким же успехом можно было выйти на берег Оби-матушки и исполнить свое эмоциональное выступление перед прибрежными камышами.

Поэтому мы сразу сказали, что согласны взять товаром, благо еще было что выбрать. Ой, как тетушка-«громоотвод» сразу заулыбалась, как посветлело ее лицо!

— Да пожалуйста, ребята! Вади-и-ик! — позвала она нашего продавца.

Тот пришел, тоже улыбаясь.

— Сумму их долга знаешь?

— Конечно! Я же их книжками торговал!

— Они возьмут товаром. Проследи, пожалуйста.

И пошло-поехало! Лопаты? Годится! Игрушки? Годится! Мыло, зубная паста, макароны, чай, маринованные помидоры, церковная литература... «Берем-берем, все берем!» Глаза у Жени загорелись. Вадик хоть и знал сумму нашего долга, но что почем из предлагаемого нам товара — нет. О! Сварочный аппарат «Гном»! Вот именно его нам и не хватало для осуществления книготорговой деятельности! Я Женю уже локтем в бок: хорош, сворачиваемся, сумма долга превышена. А Вадик все улыбается, ничему не препятствует. Скажете, нечестно? «Как царь с нами, так и мы с царем!»

Обратно мы ехали с вернувшимися из плавания книгами, бартерным добром и с чувством исполненного долга. Правда, потом целый год ждали звонка из «Купеческого каравана» с вопросом: «Ребят, а на какую сумму вы взяли товара?» Но время шло, никто нам не звонил, уж не ведаем, чем там закончились разборки с остальными коммерсантами.

А через год... Через год вышла книга «Анастасия» авторства Владимира Мегрэ, причем сразу огромным тиражом. В ней описывалась молодая таежная отшельница, кудесница, красавица, разве что не спортсменка и комсомолка. И якобы именно ему, автору книги, посчастливилось встретиться с ней во время одной из стоянок на пути «Купеческого каравана».

Книга имела фантастический, оглушительный успех по всей стране. Многие люди, потеряв духовные ориентиры в мутные годы перестройки и развала девяностых, самозабвенно медитировали на массовых оргиях Кашпировского и Чумака, Аум Синрикё и сайентологов Хаббарда, преподобного Муна и прочих претендентов на роль всемирных пастырей. И вдруг — как озарение: описание чар и чудес отшельницы Анастасии чередовалось с раздумьями на

темы мироздания, жизни, космоса и так далее. Изложено было, соглашусь, довольно талантливо. Я осилил первую книгу (потом вышла целая серия) где-то до половины, потом, признаюсь, читать надоело. Добро бы я ничего не знал про автора и воспетый им «Купеческий караван». Ведь методы его работы в период «созревания замысла» этого произведения лично мне сильно мешали верить в высокое и светлое.

Мы поняли гениальный замысел и логику действий Мегрэ по созданию, выражаясь по-умному, издательского бизнес-проекта. С точки зрения человеческой психологии он попал в самое яблочко. Ведь у всех нас на уровне подсознания, я б сказал генетической памяти, живет почти физиологическая потребность в общении с природой, глубинное ощущение некой изначальной чистоты и страстное желание обретения гармонии бытия. Еще сто лет назад Горький устами Луки в пьесе «На дне» поведал об истовой вере человека в «праведную землю». Вот и теперь люди с маниакальной неистовостью хотели верить, что где-то там, среди сибирских просторов, на берегу Оби, в нетронутой тайге под сенью вековых звенящих кедров живет прекрасная молодая отшельница, чистая и светлая, питаемая космической энергией и повелевающая живой природой.

Неудивительно, что народ, точнее, немалая его часть, склонная к вере в чудеса, мистике, волшебству, увидела в этих книгах свет, путеводную звезду. Самыми яркими сгустками таких настроений выступают, как правило, социально активные, экзальтированные тетушки среднего и старшего возраста. Однако, если это кому-то помогает жить и радоваться жизни, я ничего против не имею. Свобода совести, знаете ли.

Что ж, снимаю шляпу: задумано и исполнено все было блестяще! На доходы от «Каравана» очень оперативно был издан тираж первой книги. Самое веселое я обнаружил на предпоследней странице книги первого издания: список якобы спонсоров исторического вояжа. И там, среди других, — мы, точнее, наше с Женей ТОО «Буян»! Во как! Огромное спасибо хотя бы за это, но, право, не знаю, были ли столь благодарны остальные «меценаты».

И вот по всей стране как грибы после дождя стали возникать общества друзей Анастасии, люди писали ей какие-то обращения, стихи и исповеди, все это слали Мегрэ. Он оперативно выпустил вторую книгу. Для выхода ее в свет, слава богу, никаких дополнительных «Караванов» уже не понадобилось.

В общей сложности вышло, по-моему, восемь книг про Анастасию, в одной из которых утверждалось, что она от автора даже родила.

Слышу однажды в телефонной трубке взволнованный женский голос:

— Вы — «Буян»?

— Да, «Буян», а что?

— Это вы спонсировали экспедицию «Купеческого каравана»?

— Было дело. — Мои губы расплылись в улыбке.

— Ребята! Вы даже не представляете, какие вы молодцы! Да вы прикоснулись к святому, да вы помогли людям стать выше и чище, да вы...

И в таком духе минут пять. В завершение признательностей прозвучал вопрос:

— Где вас можно найти? Я теперь книги буду покупать только у вас!

— Пожалуйста, приходите на Чкаловскую ярмарку, увидите.

Отозвалось бы таких тетешек хотя бы с полсотни... Но стоит отметить: на продаже самих книг про Анастасию мы заработали нормально. И за это тоже спасибо Мегрэ.

Несомненно, воспевание Сибири, ее красот, тайги, Оби лучше, к примеру, обещаний проходимца Грабового воскресить из мертвых за 39 500 рэ. Однако после выхода в свет первых «Анастасий» началась активная торговля поделками и амулетами из кедр, некоторые фанаты вешали их рядом с православными крестиками, а то и вместо них. Часть чересчур восторженных почитателей Мегрэ ставили его в один ряд с Тургеневым, Горьким и даже Львом Толстым! Это уже было слишком! Православная церковь тоже очень настороженно отнеслась к культуре новоявленной почти святой. Недавно сказано в Писании: «Не сотвори себе кумира».

Ну да Бог им судья! Есть хоть что интересного и мне вспомнить на старости лет.

ЛАТВИЙСКАЯ РАПСОДИЯ

1.

Первая часть «рапсодии» прозвучала в 1984 году — во времена, не предвещавшие ничего трагического. То был предпоследний год безмятежной эпохи развитого социализма, когда советская Латвия еще служила одним из маяков для многочисленных республик СССР.

Я тогда учился на биофаке Казанского университета и в начале четвертого курса приступил к выполнению дипломной работы, сутью которой являлось получение и изучение антивирусных свойств одного химического соединения. Синтезировать его и химически охарактеризовать предстояло на кафедре микробиологии нашего универа, а испытать противовирусное действие — в Риге, в одной из лабораторий Института микробиологии имени Августа Кирхенштейна Академии наук Латвийской ССР. Помимо чисто научного интереса, мне очень хотелось побывать почти за границей — в Латвии, в неведомой Риге.

Прибалтика в Советском Союзе пользовалась большим уважением — какой-никакой, а все-таки Запад. Такой далекий, неведомый и манящий... Скрывать не стану: прибалты — эстонцы, латыши и литовцы — смотрели на нас высокомерно. Мы подсознательно мирились с этим, был такой момент, и отрицать это бессмысленно. Даже акцент придавал прибалтам некоторый шарм. Но и основания для этого у них в то время имелись. Годы «большого террора» коснулись их по минимуму, коллективизация была не такой свирепой, как у нас, да и с величественной сталинианой познакомились они лишь в ее конце. Добавить к этому самый высокий уровень жизни в СССР, наличие мощной промышленности. Радиола «Rapsodija», на которой я дома с детства крутил пластинки, была произведена на некогда знаменитом рижском заводе-гиганте ВЭФ. Высокоразвитое сельское хозяйство во многом сохраняло

свое историческое хуторское начало, хоть и в существенной колхозной «интерпретации». Традиционный уклад жизни был во многом сохранен, плюс европейская архитектура, аккуратность, чистота, опрятность во всем. Да! И море! Хоть и холодное. Одно слово — Прибалтика.

Прибыл я в Ригу вечером. На вокзале расспросил, где находится университетское общежитие, и уже в темноте отправился на его поиски. Нашел достаточно быстро, но не то: общага оказалась юрфаковской. Тем не менее, показав на вахте документы и командировочное удостоверение, я надеялся получить ночлег. И не ошибся: случайно оказавшийся рядом студент по имени Гунтис, объяснив вахтерше, что у него соседи по комнате в отъезде, любезно пригласил меня переночевать к себе — вахтерша не возразила. Было неожиданно и приятно, так как до этого я был наслышан о неприветливости и национализме прибалтов.

Гунтис предложил хлебнуть чайку. Еще оставалась кое-какая снедь, не осиленная мною в дороге. Добро! Я начал озираться по комнате в поисках чайника, кружек и тарелок, но не находил их. Оказалось, чай у них принято пить не в комнатах, как у нас в общаге, а на кухне — все стены ее были увешаны шкафчиками под соответствующими номерами комнат. Я заглянул в пару из них — полные наборы посуды и прочей кухонной утвари. Да... Искренне подивившись, я живо представил себе, какой бы начался круговорот посуды в нашей общаге после чьего-нибудь первого же дня рождения! А тут — порядок. И мы с Гунтисом, попив чайку и сполоснув после себя посуду, все сложили на место.

Наутро, искренне поблагодарив гостеприимного латыша, я продолжил поиски своей общаги. И вскоре нашел — аспирантское общежитие № 3 Рижского госуниверситета имени Стучки находилось в центре города, в старинном доме, на стенах которого висели две мемориальные доски: здесь когда-то проживали композитор Альфред Калныньш и академик Мстислав Келдыш.

В комнате я поначалу жил один. Мое жилище было просторным, с высокими потолками, правда, окно, выходящее в темный двор-колодезь, давало мало света. Но это ничуть не портило настроения. Главное — работа. Досуг я полностью занимал изучением города, а в выходные и праздники путешествовал по региону.

Институт микробиологии находился за городом, в лесу Клейсту, что по Болдерайскому шоссе. Я быстро сошелся с коллективом лаборатории, возглавляемым доктором наук Музой Индулен. Руководителем мне назначили младшего научного сотрудника Наталью Замятину — приветливую, обязательную молодую женщину. И покатались мои трудовые будни в этой почти заграничной лаборатории.

Русские сотрудницы были живее и общительнее своих латышских коллег. Доктор Индулен почти не выходила из своего кабинета. Строгость и официальный исходили от старшего научного сотрудника Дагнии Дзегузе. Ее присутствие всегда немного напрягало: она, стремясь создать подчеркнута рабочую атмосферу в коллективе, всегда мерила строгим взглядом всех, у кого просто было хорошее настроение. Кстати, в Латвии официально принято обращение

к научным сотрудникам по фамилии с приставкой «доктор», причем необязательно, чтобы они являлись собственно докторами наук. С Наташей, моей руководительницей, мы подружились. Общались в основном в лабораторном боксе — я у нее многому научился в работе, начав осваивать новые для себя вирусологические методики.

В той лаборатории трудилась самая лучшая лаборантка из всех, кого мне довелось увидеть за свою научную карьеру. Звали ее Скайдрите Рейковска, или просто Скайча, в ее руках все горело, она никогда не сидела без работы. Я не раз восхищенно говорил: «Скайча — настоящее достояние нашей лаборатории». Она имела среднее образование, по-русски говорила с сильным акцентом, да и работала в институте только потому, что жила недалеко от него в большом собственном доме. От Скайчи всегда веяло основательностью, жизненным тонусом, уверенностью. С такой женщиной, наверное, любому мужику — как за каменной стеной. Но, несмотря на наличие у нее взрослого сына, муж отсутствовал, что было весьма неожиданным фактом. Что ж, и так, к сожалению, в жизни бывает.

Кроме меня и еще одного лаборанта-вечерника, работавшего на полставки, сотрудников мужского пола в лаборатории больше не было. Поговаривали, что всех мужиков доктор Индулен банально выживала. Да и сам институт являл собой классический «женский монастырь» — вещь заурядная для подобных научных заведений. Мое появление в институте заметили сразу. Сотрудница-латышка из соседней лаборатории как-то заинтересовалась у одной из моих коллег, спросив по-русски: «А что у вас за новый, э-э-э, желтый мальчик?» Слова «рыжий» она, видимо, не знала. И «желтый» мальчик был тут же привлечен к сдаче норм ГТО от института по плаванию, к концерту художественной самодеятельности — исполнить с коллективом лаборатории латышскую песню «Пут, вейни!» («Вей, ветерок!»). Для полного ансамбля не хватало мужского голоса. Что ж, сам напросился — любил поорать песни за работой в боксе, когда не требовалась стерильность. Сотрудницы поначалу недоуменно переспрашивали друг друга: «Опять наш дипломник распелся?» Однако со временем привыкли. Привыкла и строгая доктор Дзегузе. Она даже интересовалась, когда я помалкивал: «Что-то Петериса не слышно, он на работе?»

Искренне удивил такой любопытный факт. Некоторым сотрудницам было лень таскать домой бесплатное молоко, полагавшееся им за профессиональную вредность, и они отдавали его мне: студент всему рад. «Только, — говорили, — бутылки назад вернуть не забудь». Конечно верну, какой разговор! И вот, когда я в первый раз принес пустые бутылки, у меня строго заинтересовались:

— А где крышечки?

Имелись в виду крышечки из фольги — для них был выделен специальный мешочек. Каково?

Несмотря на свою должность агитсектора биофака, с комсомолом в Риге я решил не выставляться. Комитет комсомола в институте, конечно же, существовал, но существовал незаметно для окружающих. На функционара «от системы» был похож только один сотрудник института — начальник

первого отдела, солидного возраста отставной военный. Радеть за комсомол мне не хотелось еще и потому, что на «ненашенской» территории его, мягко говоря, недолюбливали. У меня состоялось несколько диспутов на политические темы — я крайне удивился идейной «незрелости» и скрытому недовольству моих хоть и западных, но все же советских оппонентов. Прибалтам вечно что-то не нравилось.

Однако я не избавился от профессионального для агитсектора навыка всюду в городе замечать наглядную агитацию. До сих пор помню пару лозунгов на латышском: «Musu devizu — augstu kvalitati katra darba vieta» (Наш девиз — высокое качество на каждом рабочем месте). Одобряю! И второй, насколько дурацкий, настолько же в свое время популярный: «Ekonomika jābū ekonomiskai» (Экономика должна быть экономной). Кстати, откровенно восхваляющих или к чему-то энергично призывающих коммунистических лозунгов типа «Да здравствует (по-латышски «Lai dzīvo») то-то и то-то!» я не встречал. Даже лозунги были какие-то спокойные, видимо с учетом латышской специфики.

После работы я никогда не отказывал себе в удовольствии прогуляться по старинным мощеным улочкам. Выходил обычно сразу за Горьковским висячим мостом через Даугаву на улице Торнис, что в Старом городе. Шел по улице Юниела, мимо дома, в котором жил Шерлок Холмс, он же Василий Ливанов, и где профессор Плейшнер-Евстигнеев не заметил сигнала опасности — цветка в окне. Многие эпизоды из «Приключений Шерлока Холмса» и «Семнадцати мгновений весны» снимались в Риге. С удовольствием прогуливался по улицам Яня Сета, Вальню, через площадь 17 Июня, на которой красовался Домский собор с лучшим органом во всем Советском Союзе. Удивило, что многие дома Старого города имели печное отопление — в воздухе висел легкий запах угля, а дымоходы обслуживались цехом потомственных трубочистов, одетых в традиционные, немного бутафорские, как мне показалось, средневековые одежды. Но это лишь добавляло экзотики.

А вот музей латышских стрелков, «акушеров» Октябрьской революции, и памятник им рядом с этим музеем выглядели словно угрюмые, тяжелые аккорды в мажорной теме рапсодии Старого города. Оконченная мною в Казани средняя школа № 90 находилась на улице Латышских Стрелков. У нас в школе даже был музей, посвященный им: революционная Красная Латышская дивизия в Гражданскую войну освободила Казань от белогвардейцев. Но, несмотря на это, я не испытал ни малейшего желания заглянуть в рижский музей. Тем более знал, что многих уцелевших после Гражданской войны латышских стрелков товарищ Сталин, их бывший соратник, впоследствии убрал.

От Старого города я частенько под перезвон трамваев шел по улице Кришьяниса Барона, на ней было много диковинных для меня шляпных салонов. В Риге, как и во всей Прибалтике, царил настоящий культ цветов — в букетах и букетиках, в горшках и горшочках, они радовали глаз буквально повсюду. Любопытно, что у латышей принято дарить мужчинам цветы. Впервые в жизни мне вручили букетик желтых нарциссов на 23 Февраля — я, малость недоумеваю, но тем не менее с удовольствием принял та-

кой непривычный для себя подарок. Причем все продаваемые на улицах цветы были не привозными и торговали ими местные, а не кавказцы, что также было для меня внове. Зимой букеты и горшочки с цветами прятали в небольших закрытых этажерках из прозрачного оргстекла, в каждой ячейке с букетом горела маленькая свечечка. В темное время суток уличные цветочные ряды мерцали ровными рядами приветливых теплых огоньков.

За Рижским драматическим театром, где тогда блистала знаменитая Вия Артмане, по улице Миера, за трамвайной линией я однажды набрел на большое заброшенное русско-немецкое кладбище. Оно заворожило меня обилием шикарных, но, к сожалению, заросших и сильно обветшавших могильных памятников. Под ними покоились наши бывшие соотечественники: офицеры царской армии, коллежские ассессоры, титулярные советники, священники и сословные купцы (это было высечено на памятниках с трогательными ятями, «и» с точкой и твердыми знаками).

Немецкие захоронения когда-то находились в основном в склепах, оказавшихся пустыми. Их двери были распахнуты, и я, искатель приключений на одно место, спустился в некоторые из них, осторожно ступая по кованым спиральным лестницам. Кругом мусор и запустенье. До сих пор помню то-скливое, щемящее чувство, охватившее меня после изучения того кладбища. Уж не ведаю, уцелело ли оно до наших дней. Не исключено, что на его месте сейчас сверкает переливами огней какой-нибудь торговый центр: кладбище находилось почти в центре города.

Удивило меня и обилие действующих храмов: католических, протестантских, православных. Однажды я зашел на вечернюю службу в храм адвентистов седьмого дня. Меня заметили, дали псалтырь, и после проповеди на русском языке я с удовольствием пошел с прихожанами в сопровождении небольшого органа. Правда, потом долго не мог отвязаться от общительного пресвитера, решившего, что я их потенциальный прихожанин.

А за одной из православных церквей я обнаружил небольшой погост — захоронение погибших защитников Риги в Первой мировой войне. Даже сейчас в России, пытающейся вспомнить свои корни, я ни разу не слышал о существовании мемориальных кладбищ павших в Первую мировую, а ведь их полегло тогда почти два миллиона человек! Да и памятники стали появляться совсем недавно. Герои отдали жизни за свою Родину, не задумываясь о том, какой ярлык приклеят им благодарные потомки, так долго отказывавшие им в заслуженной памяти. И нет вины павших в том, что в советские времена ту войну незаслуженно нарекли «империалистической», «захватнической», «несправедливой». Подобные мысли у меня возникли именно тогда.

Рига произвела на меня яркое впечатление не только духом старины и бережным отношением к прошлому, но и продуктовыми магазинами. В Казани в те времена такого изобилия я никогда не видел. А в Москве больше впечатляли огромные очереди провинциалов.

Изучил я и окрестности Риги: Сигулду, Бауску, Рундале. С приходом весны не выветривался из Юрмалы, исходив ее вдоль и поперек от Лиелупе

до Кемери. Помню, как открывал купальный сезон в апреле, пройдя к морю по еще не растаявшей снежной гривке босиком, сопровождаемый зябкими взглядами немногочисленных отдыхающих.

Я так увлекся Ригой, что мне даже захотелось выглядеть настоящим рижанином, поэтому я отрастил аккуратную бородку «а-ля латыш». А какие были рижанки! Светленькие, статные, модные и невероятно элегантные. Да уж, я бы не отказался тут пожить!

Приехавший в командировку руководитель моей дипломной работы обрадовал новостью: дескать, договорился насчет целевой аспирантуры для меня в Риге. То есть, числясь аспирантом Казанского университета, я бы продолжал работу в рижском институте, наработывая материал теперь уже для диссертации. Сотрудницы рижской лаборатории тоже были рады этой новости: я успел вписаться в коллектив. То ли в шутку, то ль всерьез они пообещали подыскать мне здесь невесту. Словом, я воодушевился перспективой остаться в рижской аспирантуре.

Помню, как с интересом прислушивался к мелодичной латышской речи. В лаборатории всех приветствовал по-латышски. Старший научный сотрудник Вайра Калныня даже похвалила как-то: «Молодец! Ну абсолютно правильно произносишь!» Со временем, еще не понимая языка, я стал чувствовать, как бы угадывать смысл фраз, с которыми ко мне часто обращались на улице. Латышский показался мне совсем не сложным: благозвучный, легко произносимый, с похожей на русскую грамматикой. Он относится к балтийским праславянским языкам: многие латышские слова совпадают с русскими — выучить его не составило бы большого труда. Хотя, благодаря многочисленности нашего брата, дела с русским языком в Латвии обстояли лучше всего в Прибалтике. По большому счету, чтобы жить в Риге тогда, вовсе не обязательно было знать латышский.

Кроме Латвии побывал в Эстонии — в Таллине и Тарту и в Литве — в Вильнюсе и Каунасе. За пару выходных дней успевал ознакомиться с тем или иным городом достаточно хорошо. Нравилось: вот я выхожу на перрон вокзала совершенно незнакомого города, а уже вечером следующего дня почти свободно в нем ориентируюсь.

Все три республики заметно отличались друг от друга, несмотря на общий «фасон», одинаковую всюду аккуратность. Но все-таки больше всего мне понравилась Латвия, и не только из-за того, что я изучил ее лучше. Эстонцы, говорившие на совершенно тарабарском языке, показались мне чересчур медлительными, недаром про них ходит столько анекдотов («Что такое форум?» — «Это эстонский чат»). Литовцы, напротив, остались в памяти болтливыми, экспрессивными и самыми националистичными. По общему типуажу они, пожалуй, ближе к славянам, чем к скандинавам. Латыши воспринимались золотой серединкой — тактичные, спокойные, выдержанные.

Я все старался найти для себя ответ: почему у прибалтов во всем порядка больше, чем у нас? С одной стороны, понятно: культурное влияние Европы плюс неутраченное чувство хозяина. Третий фактор я осознал после того, как увидел дом Скайчи: прекрасный по меркам тех лет, окруженный садом

двухэтажный коттедж, где она жила вдвоем с сыном. Зная, кем работает сын и что у нее самой небольшая зарплата в институте, я вслух подивился наличию такого дома. Хозяйка объяснила: «Знаешь, Петерис, в этот дом вложен труд четырех поколений. Мой дед взял здесь землю, и домик сперва был скромным, зато дед сразу заложил хороший фундамент. Поэтому мой отец задумал большой двухэтажный дом, но сумел построить только один этаж. Второй этаж достроили мы с бывшим мужем. Теперь сын, вернувшись из армии, сделал мансарду, переложил крышу. Он вскоре собирается жениться, будем обустраиваться дальше».

Вот! Вот она — соль! Люди поколениями живут на одном месте, срастаются с ним, обихаживают и радеют за свою малую родину. Латвия — страна маленькая, психология латышей созвучна ее категориям и масштабам. Правда, многим из них Иосиф Виссарионович предоставил новую «малую родину» — за Уралом... А что же мы? Девизом моего поколения и поколения моих родителей были слова из песни: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!» Или: «Старость меня дома не застанет: я в дороге, я в пути!» Потому-то и вышло так, что моя мать родилась в Белоруссии, а отец — в Комсомольске-на-Амуре. Я — в Казани, супруга — в Иркутской области, а наши дети — уже в Новосибирской. От подобных пертурбаций у многих, видимо, и возникает философия временщиков. Что же в итоге лучше? Газончик перед окнами своего дома или когда «диктуют колеса вагонные», особенно если с их стука «начинается Родина»? Пусть каждый ответит сам. Своего мнения не навязываю, но оно очевидно.

Но... в один прекрасный день моя латвийская рапсодия оборвалась. Доктор Индулен сообщила, что ставки аспиранта в штатном расписании лаборатории для меня на ближайший год не найдется, несмотря на достигнутую с казанским шефом договоренность: их собственная целевая аспирантка переводилась по семейным обстоятельствам из Москвы домой, в Ригу, аккуратно на обещанное мне место. Тем более что со мной возникали определенные проблемы: я — не латыш, рижской прописки не имею, вдобавок Институт микробиологии не имел собственного общежития, и они арендовали квадратные метры жилья у физиков, причем не в Риге, а в Саласпилсе. Известие стало для меня полной неожиданностью, прозвучав буквально за неделю до государственного распределения, на котором я должен был присутствовать в университете лично.

Большинство моих однокурсников заблаговременно позаботились о своем будущем трудоустройстве, предоставив государственной комиссии по распределению так называемые «вызовы» на конкретные места. Я же, лишившись рижского варианта, шел по общему списку распределений. Предлагаемые места трудоустройства особой радости у меня не вызывали. Шеф, извинившись за то, что так вышло, посоветовал переждать годик где-нибудь поблизости для повторной попытки «захвата» Риги. Он даже предложил место старшего лаборанта в одной скромной организации, правда, оговорившись при этом, что ему-де даже совестно предлагать такой вариант. Тут я с ним охотно согласился.

И вот буквально за день до судьбоносного выбора неожиданно стало известно о вакансии стажера-исследователя в НПО «Вектор» под Новосибирском. Мне всегда хотелось самостоятельности. Думал, если что — вернуться домой в Казань всегда смогу. Подумав вечером, я дал добро. Бог с ним, с Западом. Как там гласил рижский плакатик? «Наш девиз — высокое качество на каждом рабочем месте». Во-во, именно так, на каждом. Что ж, двинем прямо в противоположном направлении — на восток, в Сибирь!

Но пока предстояло завершение экспериментов. Последние дни пребывания в Риге я прощался с городом, Латвией, институтом, лабораторией. До сих пор, вспоминая ту погожую балтийскую весну, чувствую, как теплеет в груди. Меряя шагами каменную мостовую враз зазеленевшей красавицы Риги, я даже ласково гладил стены домов Старого города. А выйдя на набережную Даугавы, провожал взглядом весенний ледоход и с удовольствием вдыхал легкую речную свежесть. Оставалось лишь надеяться, что все, что ни делается, — к лучшему.

В день отъезда вся лаборатория дружно вышла меня проводить. Вручили сувенир, книгу об Институте микробиологии со своими автографами. Даже суровая доктор Дзегузе взгрустнула и, обняв, сказала по-латышски что-то ласковое. Ну, «драугес» (друзья), за все — «палдиес» (спасибо)! «Уз редзешанес» (до свидания)!

2.

Исполнение второй части рапсодии продолжилось в апреле 1991 года, за полгода до развала Советского Союза, когда я, уже в ранге научного сотрудника «Вектора», вновь оказался в Риге в командировке. В городе тогда было беспокойно: всего лишь месяц прошел после массовых антиправительственных выступлений, закончившихся их разгоном рижским ОМОНОм. Были жертвы, но не такие многочисленные, как незадолго до этого в Баку, Тбилиси и Вильнюсе. «Союз нерушимый республик свободных», к сожалению, как-то разом затрепал по швам. Атмосфера гнетущей тревоги и неопределенности ощущалась физически. Некоторые улицы Старого города были перегорожены бетонными блоками, а стены домов исписаны лозунгами. Заметив, что в них повторяется слово «krevī» и зная его значение — «русский», я попросил одну прохожую женщину перевести. Она замялась:

— Я не могу, мне неудобно.

— Но все-таки, пожалуйста.

Она перевела. Я поблагодарил. Что там было написано? Повторять не хочется, но «из песни слова не выкинешь». Самый обидный из этих лозунгов, написанный явно каким-то недоумком, гласил: «Хороший русский — мертвый русский!» Как говорится, без комментариев.

Выкроив время, навестил свою лабораторию, в которой семью годами раньше делал диплом. Встретили меня там по старой памяти очень тепло. Однако несколько русских сотрудниц, включая мою Наталью, оставшись наедине со мной, с горечью поведали: «Отношение латышей к нам сильно ухудшилось, даже в лаборатории, несмотря на многолетнее сотрудниче-

ство». А Вайра Калныня, когда-то хвалившая меня за правильное произношение, и вовсе стояла «на баррикадах», получив прозвище Гаврош.

Интересно, что в следующем, 1992 году она заходила ко мне в гости, будучи в командировке на «Векторе». Мы душевно посидели, как полагается, немножко выпили-закусили, я познакомил ее с супругой, детьми. Вспомнили лабораторию, я с улыбкой помянул ее «гаврошество» — Вайра, замахав руками, засмеялась: «Ой, что ты, что ты, Петерис!» Вот только не поверил я искренности ее смеха. Ну а чего, собственно, я хотел? Мы — это мы, а они — это они.

Вожделенная цивилизованность пришла на латвийскую землю в виде членства в «миролюбивом» блоке НАТО. А местная продвинутая «демократия», упразднив льготы ветеранам Отечественной войны, стала чувствовать сборища и вакханалии фашистских недобитков, закрыла мемориал лагеря смерти в Саласпилсе, оскорбив память его жертв переименованием лагеря в «исправительно-трудовой». Ввела жесткие ограничения в отношении русского языка, массово закрывая русские школы, а во всех бедах минувших, настоящих и авансом будущих обвинила русских и Россию. Оказывается, настолько все просто! Более того, новоявленный латвийский апартеид разделил жителей страны на граждан и неграждан, сокращенно — «негров», да еще и «оккупантов».

Кем бы я был сейчас, останься я в Латвии? Естественно, «негром». Почему? Потому что я — внук своих павших на войне дедов, получивший в их честь свое имя (оба были Петрами), обязательно бы участвовал в обструкции шестивей латышских фашистских ветеранов-недобитков и их молодых последователей, скандируя: «Гитлер капут!» Обязательно бы шумно праздновал девятого (а не восьмого!) мая святой День Победы, стоял бы в пикетах, участвовал бы во всех протестных мероприятиях. Обязательно бы предпочел российский паспорт латвийскому — «фиолету», как они говорят.

Отсутствие избирательного права? Да и черт с ним! Без этого можно прожить. Но ведь без местного гражданства ты не можешь проживать где захочешь, выезжать за границу (назад могут не пустить — вот и попробуй навестить родителей). Сложно с трудоустройством, а многие профессии вообще табу.

Довольна ли Латвия своим сегодняшним «белокожим» состоянием? Вопрос очень непростой, особенно сейчас. Нет, конечно, спорить не стану: аккуратность, опрятность, чистота — все осталось при латышах. Эти качества вне времени и строя. А в остальном? Уж не знаю, как там сейчас ситуация с наукой вообще и микробиологией в частности, но некогда могучая латвийская промышленность практически умерла, а от гигантов — ВЭФа, радиозавода имени Попова, автозавода РАФ и Рижской судовой верфи — остались лишь одни воспоминания. Сельское хозяйство тоже влачит жалкое существование, не выдерживая конкуренции с евросоюзовским и будучи спеленутым по рукам и ногам их мизерными квотами. Ну, шлифуют янтарь, ловят шпроты

и через терминал в Вентспилсе гонят нашу нефть. Пока еще гонят. Знаменитая Рижская киностудия тоже фактически приказала долго жить — потерялась ее «долгая дорога в дюнах». Жаль только старенькую, обвиненную в сотрудничестве с «оккупационным режимом» Вию Артмане, которую собственники недвижимости вышвырнули из ее квартиры.

Вот и побираются дотациями Евросоюза, обильно поставляют туда гастарбайтеров, разглагольствуют о торжестве демократии в некогда «порабощенной и несчастной» Восточной Европе, лязгая зубами на Пыталовский район Псковской области и мечтая о высосанных из пальца компенсациях с России «за оккупацию». И словно логичный заключительный минорный аккорд латвийской рапсодии — сокращение более чем на четверть (!) населения по сравнению с советскими годами.

В чем отличие Прибалтики советской от Прибалтики евросоюзовской, если отбросить в сторону сладкие слюни праздных рассуждений? Принципиальное отличие, господа хорошие, в одном: Советский Союз, как бы они его сегодня ни костерили, инвестировал, вкладывал огромные средства в экономику Прибалтики, зачастую даже в ущерб соседним областям российского Нечерноземья. А Евросоюз — фигушки! Ему бы некоторых членов старой Европы из финансового болота вытащить, не до страждущих «новобранцев». Несмотря на солидный, в четверть века, возраст постсоветской «самостийности», наблюдается (и не только у прибалтов!) ошарашивающая закономерность: чем хуже нынешние дела, тем больше виноват в этом почивший Советский Союз и его правопреемница Россия. Терзают смутные подозрения, что в ближайшие времена наша «вина» перед многими постсоветскими странами еще более усилится.

Все познается в сравнении. Сложно сравнивать, к примеру, Сибирь с Латвией. Но родной Татарстан — вполне возможно: и климат схожий, и размеры территории, и численность населения сопоставима, и титульная нация имеется, даже процент русских приблизительно одинаковый. Но Татарстан как производил, так и производит грузовики и самолеты, оптику и вертолеты, бытовую химию и часы, перерабатывает нефть и газ, а хлебушка вообще выращивает с хорошим избытком. Не сомневаюсь в том, что и нынешняя красавица Казань ни в чем не уступает Риге. И ни один латвийский клуб не способен сыграть в Лиге чемпионов по футболу, тем более выиграть, как «Рубин», у «Барселоны» или «Атлетико».

Запад в широком смысле слова сейчас стал в целом достаточно доступным, а вот бывшему «советскому Западу» досталось его истинное место — на восточных задворках Европы. Кто они сейчас? Так, статисты Евросоюза. От былого уважения к прибалтам с советских времен не осталось и следа. А нынешней российской молодежи о чем говорят имена трех балтийских стран? Трудно сказать...

Людмила БОГОМОЛОВА

АРХИВ «КОРОЛЯ СИБИРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

Пристальный интерес к изучению культуры Омска первых двух десятилетий XX в. был вызван художественным материалом, обнаруженным в 1970-х гг. при вскрытии пола деревянной пристройки историко-краеведческого музея. Найденные папки хранили в себе многочисленные графические и живописные работы (подавляющей частью неизвестных авторов), впоследствии названные «архивом Антона Сорокина». Внешний вид папок красноречиво говорил об их непростой судьбе. Весь массив работ тогда же был поделен между двумя омскими музеями — историко-краеведческим и музеем изобразительных искусств. Несмотря на длительное изучение коллекции, содержимое архива до сих пор таит в себе много загадок, а в биографиях художников полно белых пятен.

Имя омского литератора, художника-любителя и коллекционера Антона Семеновича Сорокина (1884—1928) — «делопроизводителя собственной славы» — ныне хорошо известно в Сибири благодаря большому числу публикаций о его жизни и творчестве, прежде всего литературном.

Особый интерес вызывает фигура Сорокина-коллекционера. Писатель и общественный деятель А. Оленич-Гнененко основной чертой А. Сорокина на-

зывал «почти научную организованность его творчества и величайшее трудолюбие». «У Антона Сорокина, — вспоминал художник Виктор Уфимцев, — можно было раздобыть карандаши, тушь, акварель, бумагу, но за это надо было отдать свои этюды или рисунки. Антон был разборчив. Он брал не все...» В голодный 1921 г. «он не жалел даже свою пайковую крупу за то, что ему нравилось».

Известно, что А. Сорокин не только покупал, но и продавал принадлежавшие ему работы, о чем мы узнаем из его статьи «Художники Мамонтов и Тронов. Из моих встреч». Он часто подписывал чужие произведения своим именем, вторгался в авторский замысел, подкрашивал, дорисовывал и даже вырезал фрагменты композиций, вклеивая их в другие. Хорошо известно и то, что оттиски «своих график» Сорокин настойчиво рассылал по издательствам и в несчетном количестве дарил.

Вероятно, коллекционировать рисунки и живопись своих современников — художников (К. Балтгайлис, В. Безменов, Л. Бруни, Д. Бурлюк, А. Варфоломеев, А. Громов, Н. Мамонтов, А. Платунова, Р. Прибе, В. Тронов, В. Уфимцев, К. Чеботарев, В. Эттель и др.), писателей и поэтов (Вс. Иванов, Л. Мартынов, А. Оленич-Гнененко)

Сорокин начал в 1918 г. Именно в это время состоялось его знакомство с московским журналистом и графиком Алексеем Громовым, занявшим в Омске пост литературного редактора «Известий исполкома Западно-Сибирского Совета». Однако о существовании «гениального сибирского писателя» Громов узнал еще в 1914 г.: будучи редактором литературного журнала «Наша жизнь», он опубликовал один из рассказов Сорокина. В Омске Громов выполнил два ироничных рисунка, посвященных ему, — «Вознесение» и «Антон Сорокин со своей книгой» (оба — 1918 г.). За время пребывания Громова в Сибири (1918—1923) коллекция Сорокина пополнилась тремя десятками его графических работ.

Уже в 1917 г. в руках А. Сорокина находились клише и часть рисунков 1912—1916 гг. киевского графика Владимира Эттеля, посылавшего их для размещения в омских изданиях и оформления книг самого писателя. С клише рисунков «Крест», «Портрет Сорокина со свечой», «Портрет Сорокина с пауком», авторство которых приписывалось современниками писателю, выполнялись многочисленные оттиски, которые он размещал на полях своих рукописей, в письмах, направляемых в издательства, а также щедро раздавал.

На футуристической лекции весной 1919 г. Сорокин познакомился с латышским художником К. Балтгайлисом и с учениками студии А. Клементьева Н. Мамонтовым, В. Троновым и В. Уфимцевым. А на Весенней выставке Общества художников и любителей изящных искусств Степного края, проходившей в апреле того же года, он приобрел их работы.

Наиболее активно коллекция Сорокина пополнялась в 1919—1921 гг., о чем свидетельствует ряд подписных и датированных произведений (рисунки Д. Бурлюка, Л. Бруни, А. Платуновой и К. Чеботарева, наброски Н. Мамонто-

ва, рисунки и композиции Л. Мартынова и т. д.).

Уникальность собрания Сорокина для Сибири в целом и Омска в частности состоит в том, что владелец заинвентаризировал свою коллекцию, изготовив для этого печать с текстом «Антон Сорокин». На оборотной стороне произведений он ставил черными чернилами порядковый номер либо помечал: «Из архива Антона Сорокина №...». На 1925 г. как на время оформления коллекции указывает тот факт, что, узнав 18 августа 1925 г. из газеты «Рабочий путь» о том, что осенью в Иркутске состоится Всесибирская художественная выставка, Сорокин отправил на нее 28 произведений, два из которых имели оттиск его печати.

С 1920 г. начался отток творческих сил из Омска: в Петроград уехали учиться В. Тронов и П. Осолодков, в Москву — Б. Шабль-Табулевич и А. Громов, в Вильно — В. Эттель, в Туркестан — Н. Мамонтов и В. Уфимцев и т. д. В 1925 г. среди литературно-художественного окружения писателя мы встречаем Л. Мартынова, а также студентов Худпрома: Н. Бучинского, С. Горохова, А. Попова и А. Федорова, чьи учебные и творческие работы также оказались в его коллекции.

Несмотря на усиливающееся одиночество, Сорокин, по природе энергичный и настойчивый, не оставил коллекционной деятельности, о чем свидетельствуют многочисленные письма художникам того же 1925 г. Известны его обращения в Иркутск к живописцу С. И. Виноградову, графикам В. И. Анисимову, Н. И. Житову, С. К. Гвоздеву, в Красноярск — к латышскому живописцу К. Ф. Вальдману, в Томск — к скульптору А. Г. Гамулину. Напечатанные по единственному шаблону, они содержат просьбу выслать «фотографическую карточку и автобиографию, так как присланное послужит материалом для составления кни-

ги ИСКУССТВО НОВОЙ ЭПОХИ. В распоряжении галереи имеются картины и эскизы Давида Бурлюка, Рериха, Льва Бруни, Громова, Варфоломеева, Реми, Маковского, Эттеля и многих других, всего около тысячи». А в письме художнику-иллюстратору, «русскому Бердслею» С. Лодыгину, работавшему в то время в Москве, Сорокин даже просил прислать для его коллекции «уже использованные рисунки и ненужные, предназначенные к уничтожению». Сейчас трудно утверждать, сам Лодыгин прислал ему два своих рисунка, опубликованных в журналах, или же Сорокин, имея журналы, вырезал и наклеил их на бумагу, закрасив фон тушью. Но тем не менее в

коллекции Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля есть две работы Лодыгина «Дама в бальном платье» и «Часы и смерть», приписываемые до сих пор В. Эттелю.

Будучи коллектором-любителем, в собирании произведений живописи и графики Сорокин руководствовался исключительно своими личными эстетическими предпочтениями. Выявление и изучение этой коллекции, к сожалению, не сохранившейся в своем первоначальном виде, продолжается. Привлекательная для исследователей с точки зрения истории культуры, она включает в себя и множество художественно значимых произведений.



АВТОРЫ НОМЕРА

Аржаникова Марина Владимировна родилась в 1958 г. в Томске. Окончила Томское музыкальное училище. Почти три десятка лет руководит фольклорным коллективом «Пересек» при Томском политехническом университете. Публикуется впервые. Живет в деревне Кафтанчиково Томской области.

Богомолова Людмила Константиновна родилась в 1961 г. в Омске. Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Искусствовед, старший научный сотрудник Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Член Союза художников России. Живет в Омске.

Бронников Андрей Эдуардович родился в 1958 г. в Томске. Окончил Рязанское воздушно-десантное училище. Служил в частях спецназа ГРУ, был предпринимателем. Автор двух книг документальной прозы. Публиковался в журнале «Сибирские огни». Живет в Томске.

Ерхов Евгений Иванович (1936—2014) родился в селе Монастырском Кузнецкой области. Воспитывался в детском доме. Окончил Томское пехотное общеобразовательное училище. Около тридцати лет прослужил во внутренних войсках МВД СССР. Уволился полковником в 1986 г. с должности начальника отдела литературы, культуры и быта журнала «На боевом посту». В дальнейшем трудился ответственным секретарем по военно-патриотической литературе в Союзе писателей России, в Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов, в Объединенной редакции МВД СССР. Автор десяти поэтических книг. Умер в Москве.

Заплавный Сергей Алексеевич родился в 1942 г. в Чимкенте. Окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. Поэт, прозаик, публицист. Автор нескольких десятков книг прозы и поэзии. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Урал», «Наш современник» и др. Живет в Томске.

Игнатьев Олег Геннадьевич родился в 1949 г. на Сахалине. Окончил Ставропольский медицинский институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Работал врачом в Железноводске. Автор двенадцати книг поэзии и прозы, лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Крюков Владимир Михайлович родился в 1949 г. в селе Пудине Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. Автор ряда поэтических сборников, книги прозы «Мальчик и другие истории» и книги воспоминаний «Заметки о нашем времени». Член Союза российских писателей. Живет в селе Тимирязевском под Томском.

Муратов Петр Юрьевич родился в 1962 г. в Казани. Окончил Казанский государственный университет. Кандидат биологических наук. Автор книг «Встретимся на «Сковородке», «Воспоминания о Казанском университете». Живет в Кольцове (Новосибирская область).

Науменко Виталий Владиславович родился в г. Железногорск-Илимский в 1977 г. Поэт, прозаик, эссеист, литературный критик, драматург, сценарист, переводчик. Автор пяти поэтических книг и ряда журнальных публикаций. Член Союза российских писателей и Международного ПЕН-центра. Основатель (совместно с Анатолием Кобенковым) Иркутского фестиваля поэзии на Байкале. Живет в Москве.

Неклюдов Андрей Геннадьевич родился в 1959 г. в Череповце. Окончил Ленинградский университет, кандидат геолого-минералогических наук. Автор книги прозы «Нефритовые сны», энциклопедии для школьников «История Сибири», лауреат Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Н. Толстого. Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

Никифоров Петр Федорович родился в 1947 г. в р. п. Маслянино Новосибирской области. С 1968 г. работал в газете «Маслянинский льновод». Заочно окончил факультет журналистики Уральского университета. С 1987 г. — главный редактор районной газеты «Черепановские вести». Автор книги рассказов.

Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 г. в Кызыле. Окончил Литературный институт им. Горького. Публикации в журналах «Знамя», «Новый мир», «Наш современник» и др. Автор нескольких книг прозы, в том числе: «Минус», «Елтышевы», «Лед под ногами», «Зона затопления». Живет в Москве.

Чурус Татьяна Юрьевна родилась в Новосибирске. По образованию филолог и режиссер. Автор книги прозы «Баушкины сказки». Живет в Москве.



МАГАЗИН продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 6.01.2017 г. Дата выхода № 2 за 2017 г. в свет 10.02.2017 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.